ЮРИЙ
ПОЛЯКОВ
ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ,
ИЛИ СЕКС В СССР
НОВЫЙ РОМАН

Любовь в эпоху перемен

Юрий Поляков

Веселая жизнь, или Секс в СССР

«Издательство АСТ»
2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Поляков Ю. М.

Веселая жизнь, или Секс в СССР / Ю. М. Поляков — «Издательство АСТ», 2019 — (Любовь в эпоху перемен)

В своем новом романе с вызывающим названием «Веселая жизнь, или секс в СССР» Юрий Поляков переносит нас в 1983 год. Автор мастерски, с лукавой ностальгией воссоздает давно ушедший мир. Читателя, как всегда, ждет виртуозно закрученный сюжет, в котором переплелись большая политика, номенклатурные игры, интриги творческой среды и рискованные любовные приключения. «Хроника тех еще лет» написана живо, остроумно, а язык отличается образностью и афористичностью. Один из критиков удачно назвал новый роман Полякова «Декамероном эпохи застоя».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Поляков Ю. М., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Часть первая 6
1. Время, назад! 6
2. Вас вызывают… 8
3. Мимо храма 11
4. Пивное братство 14
5. «Не узнаю Григория Грязнова…» 17
6. «Вы назначены палачом!» 22
7. Эротическая контрабанда 26
8. Мороженая свинина 30
9. Кому это надо? 34
10. Театральный разъезд 38
11. Сердце зовет! 41
12. Дом без дверей 47
13. Волшебная курьерша 51
14. «Бей в барабан и не бойся!» 55
15. Советские люди 59
16. Был ли секс в СССР? 62
17. Служебный роман 65
18. Ноги в окне 69
19. Коммунальная графиня 71
20. Секс сексота 73
21. План «Зашибись!» 76
22. Домой! 81
23. «Крамольные рассказы» 85
24. Постель-читальня 88
Конец ознакомительного фрагмента. 89

Юрий Поляков
Веселая жизнь, или Секс в СССР

© Ю.М. Поляков, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Часть первая
Канувший в Лету

1. Время, назад!
Пролог

Надоело ворошить архивы, Соблюдать диету и режим. «Девушка, постойте, вы красивы! Погуляем, выпьем, согрешим…»
А.

Становлюсь ретроманом и все больше люблю прошлое. Видно, дело идет к старости, но сердце еще екает при виде весенних девушек с голыми ногами. Я давно собирался написать о нашей веселой молодости, совпавшей с советским «застоем», но все как-то медлил, колебался, откладывал, и эта хроника восьмидесятых, а точнее, ретро-роман, родилась почти случайно. Дело было так. После бурного празднования моего 60-летия я был засахарен величальной патокой и ослаблен алкоголем. Печень напирала на ребра, будто НАТО на границы России. Мозг изнемог в юбилейной суете, и выдавить из него малейшую мысль было так же трудно, как зубную пасту из пустого тюбика. Новая пьеса, обещанная Татьяне Дорониной, застряла на ремарке: «Позднее утро. Особняк на Рублевке. В инвалидном кресле дремлет могучий старик со звездой Героя Социалистического Труда на отвороте пижамы…»

Я затворился на даче в Переделкино, перешел на иван-чай, вставил в проигрыватель диск из комплекта «Весь Моцарт» и предпринял то, что давно замышлял, но постоянно откладывал, – генеральную ревизию моего литературного архива. Сложенный в коробки, он хранился в гараже с тех пор, когда мы в 2001 году переехали с Хорошевского шоссе на ПМЖ за Окружную дорогу в городок писателей и поселились в новом доме – напротив музея Окуджавы. Иногда «булатоманы» по ошибке стучались в наши ворота, требуя показать им главную реликвию мемориала – окаменевший «бычок», не докуренный великим бардом. Но мы тепло посылали их на противоположную сторону улицы Довженко.

Разбирая слежавшиеся пожелтелые рукописи, машинописные странички и вырезки из периодики, вдыхая щекотливый аромат стареющей бумаги, я обнаружил много интересного, но об этом как-нибудь в другой раз. Однако несколько находок имело прямое отношение к роману, который вы уже начали читать. Сначала на дне картонной коробки я нашел слепой экземпляр протокола, он начинался словами: «Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии парткома Московской писательской организации СП РСФСР по персональному делу члена КПСС Ковригина А. В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом «Крамольных рассказов» вышеупомянутого автора, пришли к следующему решению…» Глянув на последнюю страницу, я вздрогнул: первой в перечне подписантов стояло мое имя, а сбоку – подпись. Тоже моя. Синяя паста чуть выцвела, став голубой.

…И весь тот шумный литературный скандал начала 1980-х, оставшийся, кстати, неведомым широкой публике, пронесся передо мной в мельчайших деталях, как первая брачная ночь в памяти умирающего однолюба. Отложив протокол, я дал себе слово как-нибудь записать случившееся хотя бы для истории словесности. Несправедливо! О том, как Довлатов с похмелья шлялся в банном халате то ли по Бродвею, то ли по Брайтон-Бич, профессора рассказывают студентам на лекциях и защищают диссертации, а про то, как вождя «деревенской прозы», лидера «партии русистов» в советской литературе Ковригина выгоняли из партии, – ни гу-гу. Непросто быть русским в России. Ох непросто!

В другой коробке я наткнулся на театральную программку спектакля «Да здравствует королева!» в театре имени М. На обороте шариковой ручкой был написан телефон, начинавшийся с цифр «144». Значит, это где-то в районе Кунцева. Я раскрыл буклет – так и есть: роль первой камеристки исполняла Виолетта Гаврилова, о чем свидетельствовал еле видный карандашный штришок напротив фамилии актрисы. Лета, боже мой, Лета, последняя звезда советского кино! Ветреная Лета… Я пережил странное ощущение, будто открыл заклеенную на зиму балконную дверь и попал в май, полный птичьих песен и цветущих ароматов. Былое встало перед глазами, как… Жаль, сравнение с первой брачной ночью однолюба уже использовано в предыдущем абзаце! Вздохнув, я положил программку поверх протокола. Зачем? Не знаю. Писать прозу о давней, почти забытой страсти в мои планы не входило. Поздно и небезопасно: жены писателей воспринимают наши самые отдаленные увлечения как преступления, не имеющие срока давности.

Далее в коробке обнаружилась сложенная гармошкой широкая бумажная лента от советской ЭВМ. На титуле старинным игольчатым принтером было напечатано: «БЭК, биоэнергетический календарь. 1983–2000». Я открыл складень, и оттуда выпал мятый машинописный листок, в который некогда заворачивали что-то копченое или вяленое. Скользнув глазами по тексту, я понял: это знаменитый «Невероятный разговор» – рассказ, вызвавший когда-то бурю в Кремле и обрушивший кары на голову Ковригина. Мне, кстати, тоже досталось на орехи. Пробежав глазами крамольную страничку, я развернул БЭК и сразу заметил дату – 5 октября 1983 года, обведенную красным кружком. Что за чудо человеческая память! В тот же миг предо мной возникли: пенал переделкинского номера, утренний сумрак и женщина, спящая в моей постели, я долго смотрел на заснеженный куст жасмина в окне, вглядываясь в былое, а потом положил распечатку вместе со страничкой «Крамольных рассказов» поверх театральной программки протокола.

О пятой находке в моем архиве стоит сказать особо, это была прозрачная папка со стихами, которые я не без колебаний решил использовать как эпиграфы к главам моего ретроромана. Впрочем, пролог явно затянулся, поэтому про стихи, неведомо кем сочиненные, докончу как-нибудь потом. А сейчас, возлюбленный читатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года! Время, назад!

2. Вас вызывают…

Вы пробуждались поутру, Свое не помня отчество, Когда весь мир не по нутру И только пива хочется?

А.

Утром меня разбудила жена. С трудом вырвавшись из мутного и душного сна, я очнулся в тяжком похмелье. Казалось, внутри меня умер и уже начал разлагаться близкий человек. Нина держала в руке наш омерзительно зеленый телефон на длинном проводе и гадливо протягивала трубку. Лицо ее выражало вечное непрощение, а также боль за мой гибнущий талант. Однако к обычной гримасе презрения примешивалась еще и некая посторонняя тревога.

«Наверное, Лета? – подумал я с радостным неудовольствием. – Хочет извиниться за вчерашнее. Но домой-то зачем звонить? Теперь неделю буду отвираться! У Нинки нюх, как у сеттера…»

– Тебя.

– Кто?

– Из горкома! – одними губами предупредила жена.

Умерший человек ожил и выпростал из-под одеяла руку, показавшуюся мне хрупкой, как зимняя веточка.

– Алло! – прохрипел я в мембрану.

Объясню тем, кто не жил при Советской власти или сохранил о ней бессознательно-детские воспоминания. Для члена КПСС звонок из горкома означал тогда примерно то же самое, что для честного и потому беззащитного предпринимателя означает сегодня звонок из прокуратуры.

– Жоржик, ты не здоров? – послышался участливый голос парторга МГК КПСС в Московской писательской организации Лялина-Папикяна.

Под первой фамилией он публиковал свои милые исторические повести для подростков, а вторая была начертана на табличке его кабинета. Почему именно так, а не наоборот, никто не знал.

– Здоров, Николай Геворгиевич, простыл немного, – объяснил я подозрительную хрипоту и совершил роковую ошибку, приведшую к серьезным последствиям не только для меня самого, но и для всей мировой литературы.

Скажись я больным, а тогда по Москве бродил летальный грипп, и возможно, тяжкое испытание прошло бы мимо. В партии трепетно относились к здоровью друг друга. Имея на руках синий бюллетень, можно было смело не идти в «последний и решительный бой». А к немалым отпускным деньгам ответственным работникам выдавали еще и так называемые «лечебные», равнявшиеся месячному окладу. Возможно, традиция сложилась в 1920–30-е годы, когда коммунисты, «вытаскивая республику из грязи», вкалывали на разрыв аорты, не щадя себя, и сердца лопались в клочья даже у молодежи. Вспомните того же Павку Корчагина, который застыл в параличе, будучи совсем молодым мужчиной. Ему полностью отказали все члены, кроме одного, отличавшегося до последнего дня комсомольской несгибаемостью, чем беспрестанно утешалась верная жена, пока не стала вдовой. Про сей тайный исторический факт любил рассказывать после рюмки коньяка Гриша Красный – старейший советский писатель.

– Значит, не болеешь? – продолжал нежно пытать парторг.

– Нет. Пустяки.

– Вот и хорошо! Ты бы, Жорж, – ласково попросил Лялин, – зашел к нам. Соскучились мы по тебе…

– Когда? – хрипло уточнил я, чувствуя, как сердце колотится в горле.

– А как сможешь. Да хоть и сегодня…

– Хорошо. Постараюсь.

– Постарайся. В четырнадцать ноль-ноль. Не опаздывай, дружок! – душевно предупредил Папикян и запел по телефону мучительным полубасом: «Настал, настал урочный ча-ас, о златокудрый воин на-аш!»

В переводе с аппаратного языка на общепринятый это означало: коммунист Полуяков, вас срочно вызывают в горком партии по неотложному делу. Явка обязательна, опоздание недопустимо!

– Буду, – ответил я, сокрушаясь, что не сказался больным, и вернул жене трубку.

– Ну? – спросила с тревогой она.

– Баранки гну!

– У тебя глаза пьяные.

– Надену дымчатые очки. Бульон есть?

– Есть.

– Разогревай!

Запершись в ванной для реанимационных процедур, похожих на чудо воскрешения Лазаря, я мучительно соображал, что же мог означать внезапный вызов. Имелось сразу две версии. Первая, самая вероятная. В «Стописе», который я возглавлял третий год, прошла ошибка, возможно, политическая. Поясню: «Столичный писатель» – обычная 4-полосная многотиражка половинного формата «Правды» – на вид не отличалась от таких же «боевых листков», выходивших на каждом крупном предприятии, в вузах и воинских соединениях. Но наша газета предназначалась московским писателям, а к бойцам идеологического фронта было отношение особое: «Стопис» внимательно читали в горкоме и даже в ЦК. Полгода назад мы прошляпили жуткий «ляп», напечатали безобидное, на первый взгляд, стихотворение поэта Феликса Чунина:

Стою на площади вокзальной.
Тяжелый на плече рюкзак.
Ах, не смотри же так печально!
Любимая, ну что не так?
Иль ты, наверное, забыла,
Насколько широка страна?
Жизнь без дорог – почти могила.
И вновь неведомая сила
Вдаль позвала. Не плачь, жена!

Меня вызвали на Китайгородский проезд и намылили шею, потом еще в горкоме добавили. За что? А вы прочитайте первые буквы строчек по вертикали, и выйдет: «Сталин жив». Поняли? Называется «акростих».

Вторая возможная причина вызова была еще хуже. Моя повесть «Дембель-77», отвергнутая всеми журналами, застряла в кабинетах ГЛАВПУРа и военной цензуры. Возможно, они переслали рукопись в МГК и попросили провести со мной профилактическую беседу. Ха-ха! В горкоме два года лежит и сохнет другая моя непроходная вещь – «Райком». Острая. Ехидная. Про комсомол. Как говорится, испугали ежа зубной щеткой! Воспитательных бесед я вынес уже много:

– Георгий Михайлович, вот вы хороший автор и к тому же молодой коммунист, а написали такое…

– Я написал правду.

– А вы подумали, как эта правда скажется на оборонной мощи страны?

– Правда навредить не может!

– Вы уверены?

– Абсолютно. Партия требует от писателей честно отражать жизнь. В докладе на последнем съезде…

– М-да, подкованный вы товарищ. Но правда разная бывает…

– Правда – одна! Или вы считаете, что и у империалистов тоже есть своя правда?

Когда я кидал эту коронную фразу, обитатель высокого кабинета обычно взглядывал на меня, как на яйцо, которое, едва вывалившись из гузна, учит мамашу промышленному птицеводству.

– До свидания, правдолюб! Свободны. Пока…

После таких бесед я страшно гордился собой, не подозревая, что писательской правдой можно отравить читателя до смерти. Прости, прости меня, безвременно погибший великий Советский Союз! В твоем разрубленном на куски теле есть капля и моего литературного яда. Но тогда, утром 27 сентября 1983 года, изучая в зеркале свое опухшее лицо, я ни о чем таком не подозревал и даже придумал еще один разительный аргумент, чтобы бросить его в лицо запретителям при новой встрече: «Правда лечит, а ложь калечит!» Сильно, да?

Бульон не пошел, жена предложила налить его в термос и взять с собой, но я обругал заботливую женщину грубыми словами:

– С термосом – в горком? Нина, ты совсем дура?

– Пожуй мускатный орех, пьянь! – обиженно посоветовала она.

– Не учи ученого! – огрызнулся я. – Ты чего не на работе?

– Библиотечный день. Хочу постирать. Заберешь из сада Алену?

– Сегодня никак.

– Значит, опять поздно явишься? – Она пристально посмотрела мне в глаза.

Женщины заранее чувствуют даже едва наметившуюся измену, как домашние питомцы приближающееся землетрясение.

– Не знаю… – буркнул я, отметив, что Нинины поблекшие волосы неряшливо прихвачены аптечной резинкой.

– Ну зачем ты так вчера напился, Гош? – примирительно спросила она.

– Так вышло…

3. Мимо храма

О, как мы пели, пили и любили,
Оцепенев от лени золотой!
История, куда ты скачешь в мыле?
Здесь хорошо. Пожалуйста, постой!

А.

А вышло так: сверхновая звезда советского кино Лета Гаврилова назначила мне свидание в саду имени Баумана и не пришла. Я ждал ее с терпеливым пониманием: у нее была деловая встреча неподалеку, на улице Гоголя, с худруком театра имени Г., куда она хотела перейти из театра имени М., измученная приставаниями главного режиссера Здобина, а у него – жена, дети, живот и трупный запах изо рта. Тогда еще не было мобильных телефонов, поэтому выяснить, в чем дело, я не мог и ходил под часами, как постовой. Впрочем, нет – мобильники уже появились. Один из них мне довелось таскать в армии по тревоге. Весил он под сорок килограммов и паковался в специальный рюкзак с широкими ватными лямками. С этой тяжестью на спине надо было бежать изо всех сил: следом несли патронный ящик, которым жестоко таранили отстающих и замешкавшихся. С тех пор у меня паховая грыжа.

После часа ожиданий я из зловонной телефонной будки (уличные биотуалеты придумают через двадцать лет) позвонил Лете домой, но прокуренный старушечий голос ответил, что там «эту мерзавку не видели два дня».

– А вы кто? – спросил голос.

– Я из райкома.

– Что она опять натворила?

– Ничего.

– Странно. Передам, что вы звонили, если появится. Как вас, кстати, величать?

– Василий, – соврал я, воспользовавшись именем беглого писателя Аксенова, чей запретный «Остров Крым» ходил по рукам в ксероксе.

– Хм… Василия у нее еще не было…

Сердце уколол скорпион ревности, горло от обиды пересохло, и я поспешил по Старой Басманной улице в знакомую пивную. Проходя мимо памятника Николаю Бауману, убитому черносотенцем в 1905 году, я подумал: «А вот интересно, если бы революционерам показали тогда, словно на киноэкране, чем закончится их борьба, продолжили бы они махаться с царем или, плюнув, занялись бы мирными делами?» Ей-богу, тогда, в 1983 году, я думал именно так.

Возле бирюзового Елоховского собора я замедлил шаг, мне захотелось зайти вовнутрь, вдохнуть старинный восковой воздух, посмотреть на колеблющееся золото зажженных свечей и попытаться разгадать стенную роспись на сюжеты священной истории. Дома у меня хранилась толстенная, в телячьей коже дореволюционная Библия, ее к окончанию школы мне подарила бабушка Марья Гурьевна. Я начал жадно читать, но быстро остыл, устав от длиннот: «Мафусаил родил Лемеха, тот взял себе двух жен Аду и Циллу, первая родила Иавала, отца живущих в шатрах со стадами, и Иуала, отца всех играющих на гуслях и свирели, а вторая произвела Тувалкаина, который стал ковачем всех орудий из меди и железа, и сестру его Ноему…» Скучно и слишком много евреев на квадратный сантиметр текста. Про то же самое короче и веселее писал поляк Косидовский в своих книжках, которые огромными тиражами выпускал Политиздат в серии «Библиотека научного атеизма». Ей-богу: воцерковлению моего поколения, как ни странно, помог именно научный атеизм.

Разумеется, пионерам, комсомольцам и коммунистам посещать храмы не рекомендовалось, но я школьником постоянно ходил мимо в Пушкинскую библиотеку (она располагалась наискосок от церкви в старинной усадьбе с колоннами и флигелями) и по пути нередко заглядывал в Елоховку из любопытства, особенно если у дверей стояли гробовые крышки. Сладкий, влекущий ужас заставлял меня всматриваться в накренившийся профиль покойника и леденил душу невероятной мыслью: и я когда-нибудь буду вот так же лежать в гробу, даже если окончу школу с золотой медалью. Однажды я столкнулся в храме с Элеонорой Павловной, нашим завучем. Она ставила свечку и, заметив меня, лишь покачала головой, но не с осуждением, а, наоборот, просительно: мол, никому не рассказывай! Встречаясь потом в шумном школьном коридоре, мы переглядывались, как сообщники. Однажды я подрался в туалете с девятиклассником, но Элеонора, жутко нас отругав, родителей, к всеобщему удивлению, в школу не вызвала.

Итак, я направился к паперти, как вдруг горло буквально сдавили наждачные тиски и желание выпить из намерения превратилось в жесткий императив, а ноги сами понеслись к Бауманской улице. Теперь-то ясно: враг человеческий просто не пустил меня в храм, но тогда я этого еще не понимал, предвкушая, как пенный хмель усмирит сердечную досаду.

Пивной бар помещался в старинном доме, где прежде был кинотеатр моего детства «Радуга». Там я впервые увидел «Трех мушкетеров» и «Железную маску». Говорили, до войны кинотеатр носил имя Третьего Интернационала, а еще раньше – Макса Линдера. Нарезанную из старых немых лент комедию «В компании Макса Линдера» мы с друзьями смотрели раз десять, сбегая с уроков, так как билет на сеансы до 12 часов стоил гривенник, а после полудня уже 25 копеек. Почему в бывшем кинотеатре устроили пивную – загадка.

Несмотря на перепрофилирование, мы продолжали звать эту точку «Радугой». Замечу попутно: при советской власти пиво, за исключением специальных заведений, всегда имелось только в банях и кинотеатрах. Знали коммунисты, чем привлечь народ к гигиене и к важнейшему из искусств. Перед сеансом можно было испробовать даже такие редкие и недоступные сорта, как «Бархатное», «Портер», «Двойное золоте», даже «Дипломат». Советская система снабжения продовольствием полна мистических тайн и еще ждет своего исследователя.

Перед «Радугой», напротив областного кукольного театра, в кирпичном доме жил товарищ моего детства Вадя Бугаевский. Я бы, конечно, заскочил к нему, но днем он сидел в Радиокомитете на Пятницкой улице и учил в эфире арабов строить социализм. Окончив спецшколу и Институт восточных языков, Бугаевский служил на Иновещании вместе с Познером, являясь бойцом идеологического фронта, но читал только «Известия», орган Верховного Совета СССР, и никогда не брал в руки «Правду», полагая КПСС властью нелегитимной. Где его этому научили – ума не приложу! Возможно, в институте.

Жил мой друг в благодатном месте – рядом пивной бар, а на первом этаже дома помещался большой гастроном с винным отделом, но вход туда был со двора, подальше от общественного мнения. Поскольку, как говорили в народе, пиво без водки – деньги на ветер, я завернул во двор и сразу увидел длинную-предлинную очередь, хотел уйти, но заметил на лавочке двух магазинных грузчиков, отдыхавших от тяжких трудов. Одетые в импортные обноски, они играли в дорожные шахматы, шныряя по сторонам умными глазами. Мы встретились взглядами и сразу поняли друг друга. Я обозначил ладонями размер четвертинки, они мне показали три пальца. Дороговато, конечно, но ничего не поделаешь. Собираясь повести Лету в кафе-мороженое, я был при деньгах и согласно кивнул. Тогда один из грузчиков встал и вразвалочку пошел за железный ветеранский гараж. Я поспешил за ним, вроде как по нужде. Там, в захламленной щели между забором и гаражом он сунул мне бутылочку с зеленой этикеткой, а я ему зеленую же мятую трешницу. При этом мы опасливо озирались: времена настали тревожные, со спекуляцией начали бороться нещадно: взяточников, мздоимцев и несунов сажали

пачками, а директора Елисеевского гастронома, снабжавшего деликатесами больших людей, для острастки даже потом расстреляли…

4. Пивное братство

Ты выпил и от счастья застонал.
И зародилась жизнь в глазах твоих.
Да здравствует Интернационал
Тех, кто соображает на троих!

А.

Напомню, заканчивался сентябрь 1983 года. В стране генсекствовал Андропов, он объявил в журнале «Коммунист», что мы совсем не знаем того общества, в котором живем. Как говорится, без пол-литра не разберешься. Чтобы граждане могли хорошенько осмыслить эту сложную проблему, вождь облагодетельствовал трудящихся дешевой водкой за 4 рубля 70 копеек. Ее прозвали «андроповкой». Затем он стал железной рукой наводить порядок в нашем невыясненном обществе, в результате чего застрелился министр внутренних дел Щелоков. А его заместитель, он же зять покойного Брежнева, Чурбанов попал под следствие и вскоре сел в тюрьму за проступок, который в сравнении со свинством нынешних министров-капиталистов выглядит, как новогодняя петарда на фоне Хиросимы.

Кроме того, спешно восстанавливалась трудовая дисциплина. Вас могли остановить, скажем, в магазине или в кино и спросить: «А что это вы тут делаете в рабочее время? Уж не тунеядец ли вы, в сущности?» Под такую облаву я нежданно-негаданно попал в тот день в пивном баре «Радуга». Но кто же знает свою судьбу наперед? Вон и у Бугаевского ничего хорошего после свержения нелегитимной власти не вышло: хлебное Иновещание урезали, он помыкался без работы, потом его послали с телевизионной группой в Чечню. От увиденного на Кавказе Вадя пришел в ужас, страшно запил, впал в депрессию и сошел с ума. Сидит он теперь в дурдоме и говорит исключительно по-арабски, чтобы «чехи», канающие под врачей и санитаров, не узнали в нем «федерала», а то сразу отрежут голову. Вот так!

Свободных мест в пивном баре, конечно, не оказалось, о чем и сообщала табличка на двери. Но я постучал в стекло металлическим рублем с профилем Ленина: это был пароль, швейцар понял и пустил меня за мзду. Официант, брезгливый брюнет с искусствоведческим носом, оседланным импортными очками, нашел для меня местечко за широким столом, пропахшим рыбой, точно поморский баркас. Там уже сидели четверо. Я сразу заказал три кружки, тарелку вареных креветок и пригорюнился, ожидая пива.

– На-ка вот пока… – седой серьезный мужичок, похожий на заводского мастера, наставника рабочей молодежи, подвинул мне полную кружку. Он тоже взял с запасом.

– Спасибо! – Я жадно повлек пиво к сухим губам.

– Погодь! – Другой сосед, татуированный, будто племенной вождь, конспиративно вынул бутылку из бокового кармана, плеснув мне водки.

– О, не надо!

– Надо! – кивнул лысый ветеран с трехслойной наградной колодкой на пиджаке. – «Ерш» – он слаще белорыбицы!

– Ну, мужики, за то, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было! – произнес тост «мастер».

– Г-э-э! – осклабился пятый насельник стола – румяный щекастый парень с глупым ртом. Он так энергично чокнулся с нами, что пиво выплеснулось на стол.

– Э-э, обиженный! – осерчал «вождь». – Накажу!

– Гэ-э-э… – извинился щекастый.

Впрочем, через пять минут мы все уже были друзьями. «Искусствовед» принес, наконец, мои кружки и я, вернув должок, вынул из портфеля чекушку. Пивное братство распростерло над нами свои добрые крылья. Мы заговорили сразу обо всем: о жизни, о спорте, о политике, о производстве, о женщинах, которым не понять, что пьянство не порок, а важная часть великой русской культуры. Когда к нам подошли люди с красными повязками на рукавах, мы цедили разбавленное, беспенное пиво и обсуждали нового генсека: он хоть и похож на еврея (так оно потом и оказалось), но человек, безусловно, русский, ибо начал царствование, даровав народу дешевую водку.

Дружинники велели предъявить документы, объясняющие, с какой стати в разгар рабочего дня мы антиобщественно прохлаждаемся и употребляем алкоголь. Лысый ветеран молча вынул пенсионную книжку, позволявшую ему заслуженно пить пиво в любое время суток. Корочки изучили и с пониманием вернули. Щекастый по документам оказался инвалидом с детства и за свои поступки вообще не отвечал. Ему посоветовали пить лекарства. Татуированный вытащил справку об освобождении и с помощью трех матерных слов объяснил, что советское общество еще не выработало совершенных форм социальной адаптации и трудоустройства граждан, отбывших срок в местах лишения свободы. С ним согласились.

Я же с ленивой небрежностью извлек из нагрудного кармана краснокожий писательский билет с золотым тиснением, дававший мне право вообще не ходить на службу и жить в свое удовольствие, не считаясь тунеядцем. Даже если я бессознательно лягу под забором, то это следует квалифицировать как сбор жизненного материала для будущих книг о вреде пьянства. Все с уважением посмотрели на мой билет: замечательная ксива! Но с другой стороны, будь такая же у поэта Бродского, он никогда бы не получил Нобелевскую премию.

– Извините! – посерьезнели дружинники, осторожно возвращая мне билет.

– Ничего, мужики, делайте свою работу!

И они ее сделали. Пятый член нашего пивного коллектива в самом деле оказался наставником молодежи, мастером с близлежащего завода «Старт», где, кстати, работал мой отец. Свое антиобщественное поведение прогульщик объяснил таким образом: смежники задержали комплектующие детали, и он от стыда за вынужденный простой покинул рабочее место, чтобы снять то, что сейчас называется стрессом, а тогда никак не называлось, но сильно удручало людей, болеющих за дело. Беглого мастера взяли под руки и повели.

– Так ты, выходит, писатель? – удивился татуированный.

– Выходит.

– Что-то слишком молодой…

– Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал! – возразил ветеран.

– Г-э-э! – поддержал щекастый.

– Вы напишите про это безобразие! – попросил пенсионер.

– Обязательно! – кивнул я.

И вот через тридцать пять лет выполняю свое давнее обещание.

Мы чокнулись, а тут к нам вернулся и мастер, он весело хлебнул из своей кружки, которую мы предусмотрительно не отдали наглому «искусствоведу». Повязавшие его стражи трудовой дисциплины оказались нормальными ребятами, вынужденными заниматься этой крепостнической хренью за лишние дни к отпуску или продвижение в квартирной очереди. Добавив в «Жигулевское» «андроповки», мы выпили за дружбу и самоопределение. В завершение пенсионер пытался набить морду халдею за то, что пиво от одного повтора к другому по химической формуле почти приблизилось к водопроводной воде. Но татуированный с помощью одного лишь непечатного слова объяснил: насилие ведет к несвободе.

Потом, поддерживая друг друга, мы добрели до «Бауманской», мобилизовали остатки трезвости, таящиеся в глубинах самого проалкоголенного организма, и прошли мимо дежурного милиционера к турникетам, что твои кремлевские курсанты перед Мавзолеем. На под-

земном перроне мы обнимались и расставались с такой неохотой, будто знали друг друга с детства, даже еще раньше, со времен безымянного скитания по душехранилищам Вечности. Но ни телефонами, ни адресами почему-то не обменялись.

С трудом перемещаясь в Орехово-Борисово, я мутно мыслил: генсек, может, и не знает, в каком обществе живет, но мы-то знаем! Ни черта у него не получится с закручиванием гаек и с наведением порядка. Так оно, кстати, потом и вышло. Андропов вскоре умер: не выдержали почки. Следом умер, полакомившись копченым лещом, краткосрочный генсек Черненко. И пришел Горбачев, который начал самоубийственную борьбу с пьянством. Правда, поговаривали, будто Андропов помер не от почек. В него стреляла вдова министра Щелокова. Зашла вроде как в гости по-соседски за солью и пальнула. Вот были времена…

Я долго не мог попасть ключом в скважину замка. То, что обычно делаешь незаметным механическим движением, после пива и водки превращается в сложную операцию с множеством попыток. Наконец мне удалось открыть дверь, и я тихо, по-индейски, чтобы не скрипнуть ни одной паркетиной, ступил в темную прихожую. Вспыхнул свет. В засаде меня ждала Нина: на голове бигуди, на лице ненависть.

– Ты знаешь, сколько времени? – спросила она, кутаясь в байковый халат.

– Знаю…

– Завтра поговорим.

Жена метнула в меня расстрельный взгляд и ушла. Если бы закон разрешал убивать супругов и сожителей, приходящих домой после 24.00 в пьяном виде, мужская часть населения СССР сократилась бы раза в два, а то и в три.

5. «Не узнаю Григория Грязнова…»

Позвали в кабинет.
Уж так заведено:
Заходишь как поэт –
Выходишь как г…о.

А.

Кое-как приведя себя в порядок, повязав с пятого раза прыгучими пальцами галстук и освежив ротовую полость одеколоном, я с портфелем пошел к двери. Нина на дорожку обвинила меня в подлом антисемейном поведении, но я лишь пожал плечами. На улице стояла тихая рябиновая осень. Самый конец сентября. Природа всей своей ясной остывающей гармонией укоряла меня за похмельную гнусность. Из оврага тянуло грибной прелью. Подняв капот ржавой «Победы», сосед склонился над прокопченным кишечником внутреннего сгорания.

– Не едет?

– Поедет! Никуда не денется.

Весь свой досуг он проводил за ремонтом. Хорошо, что у меня пока нет тачки. Теща уговаривает освоить 21-ю «Волгу» покойного тестя, но свобода дороже. На спортплощадке, обнесенной сеткой, пузатый теннисист из второго подъезда стучал желтым мячом о дощатую стенку, и каждый удар попадал точно в мой мозг. Но и в таком жутком состоянии мысль – подобное вылечить подобным – показалась мне противоестественной. Значит, до алкоголизма еще далеко.

Редакционной машины, забиравшей меня из дому, у подъезда не было: наш водитель Гарик Саркисян с утра чинил бензонасос. Я побрел вдоль дома на Шипиловский проезд, к остановке 148 автобуса. В торцевой квартире на первом этаже жила общеизвестная пенсионерка Клара Васильевна, в небольшом огородике под окнами она завела среди банальной зелени вроде укропа кабачок, достигший к осени размеров торпеды. Весь наш кооператив живо следил за прозябанием этого чуда из семейства тыквенных, интересуясь, когда же он будет, наконец, сорван и употреблен. Но огородница не спешила: дни-то стояли теплые и солнечные. А чтобы кто-нибудь мимоходом не покусился на могучий овощ, она неусыпно дежурила в окне, иногда ее подменял супруг. Меня селекционерка проводила бдительным взглядом.

Ждать автобуса пришлось долго. За четверть часа скопился народ, люди нервничали, ведь на табличке, прикрепленной к фонарному столбу, черным по белому было написано: интервал движения – 7 мин. И тут врут! Стоявший рядом очкарик с портфелем доверительно взглянул на меня и тихо спросил:

– А вы знаете, как Муссолини добился, чтобы поезда ходили без опоздания?

– Как?

– Просто. Расстрелял несколько начальников станций и машинистов.

– А потом его самого за ноги повесили, – возразил я.

Очкарик обиделся за дуче и отвернулся. Я тоже стал смотреть в другую сторону. Шипиловский проезд тянулся вдоль обрыва Орехово-Борисовского оврага. Казалось, прежде тут был высокий морской берег, но вода ушла, и теперь по дну вилась вытоптанная дорожка, а дальше поднимался лес, простиравшийся до Бирюлева. Из желтых куп торчали полосатые мачты, опутанные паутиной проводов. Прежде там скрывалась радиостанция Коминтерна и вещала на всю Европу, звала пролетариат к мировой революции, но так и не дозвалась. Позже станцию превратили в «глушилку», жутким воем и скрежетом она забивала в эфире вражьи голоса, звавшие советский народ навсегда покончить с тоталитаризмом – и в конце концов дозвались!

Видимо, из-за близости к «очагу помех» в наших домах чуждые станции как раз ловились вполне прилично, и позавчера я своими ушами услышал по «Голосу Свободы», что Андропов госпитализирован с острой почечной недостаточностью.

Когда очередь, озверев, сговорилась написать коллективную жалобу председателю Моссовета Промыслову, автобусы вдруг появились – сразу три.

– Доиграли, козлы! – облегченно выругался кто-то.

Существовало стойкое мнение: транспортные перебои объясняются тем, что водители выходят на линию, лишь закончив партию в домино.

– Вы не правы! Тогда должно быть четыре козла, – со знанием дела возразил очкарик с портфелем.

Тут из-за поворота показался четвертый козел.

Дождавшись третьего автобуса, я вошел в полупустой салон и бросил в прозрачную кассу семь копеек вместо положенного пятачка. В прошлый раз у меня нашлась только трехкопеечная монета, и я остался должен государству. Нет, медь в кармане, конечно, всегда водилась, но копейки и двушки приберегались для телефонов-автоматов. Теперь я был со страной в расчете. Другие пассажиры тоже сыпали мелочь в прозрачную копилку или предъявляли «единые». Последним влез в салон, гремя пустыми бутылками, мужик, удивительно похожий на хулигана из «Операции «Ы». Он тащил две огромные авоськи с посудой.

– Проездной! – крикнул «хулиган» весело. – Самолетный, автобусный и поездной… А попроси – и на такси!

У нас дома на лоджии тоже скопилось столько посуды, что ступить некуда, но мы с Ниной дожидались, когда во двор приедет фургон сборщиков стеклотары, плативших по 10 копеек за обычную бутылку вместо 12. Не тащить же такую прорву в пункт приема!

Лязгнули, складываясь, двери, и автобус отвалил от тротуара. Слева показались кирпичные оглодки Царицынского дворца. По стенам на страховочных канатах висели, как пауки, альпинисты, тренируясь на руинах за неимением скал.

– «Универсам», – объявил водитель. – Следующая – «Москворечье».

«Хулиган», гремя бутылками, бросился к выходу.

– Из-под скипидара не принимают! – бросил кто-то вдогонку.

– У меня все возьмут! – был ответ.

В автобусе я снова задумался над вызовом в горком и похолодел, вспомнив, как один очень толковый начальник в конце воспитательной беседы спросил:

– Георгий Михайлович, рукопись-то вы свою контролируете?

– В каком смысле?

– В том самом! Ох, смотрите, пока мы разговариваем с вами как с заблуждающимся советским писателем, но если текст выйдет за границей, будем говорить по-другому! Уловили?

– Уловил…

От страшного предчувствия я вспотел, впору возвращаться домой и менять сорочку. Это – конец, гибель! С тоской разглядывал я попутчиков, им еще жить и жить, трудиться и радоваться, а мне конец. Даже синегубый сердечник, который вытряхивал из стеклянной трубочки крупинку нитроглицерина на дрожащую ладонь, показался мне счастливцем.

Если «Дембель» ушел за кордон, я труп! Но кто из приятелей мог переправить повесть за бугор? Подозрение сразу пало на Левку Краскина. Несмотря на маниакальную любовь к ударным комсомольским стройкам, где можно по госцене купить дубленку или ондатровую шапку, его часто звали на приемы в посольства. Говорят, за какие-то международные заслуги в альпинизме. Он! Кто же еще? Мог снять с рукописи ксерокс? Запросто: у него везде связи и блат. Альпинист хренов! Убью, как Троцкого, ледорубом…

У входа в метро к стене прилепилась дюжина телефонов-автоматов, но отозвался гудком только один, остальные либо безмолвствовали, либо были зверски раскурочены. Я бросил монету в щель и набрал номер Леты.

– Алло, – отозвался знакомый прокуренный голос.

– Здравствуйте, а Виолетта дома?

– Дома.

– Можно ее?

– Нельзя. Еще спит. Кто спрашивает?

– Знакомый.

– Василий?

– Федор, – снова зачем-то соврал я.

– Надо же! Позвоните через час-полтора.

– Спасибо.

Дневное метро выглядело пустынным. Вся страна трудилась, досрочно выполняя пятилетний план. На «Павелецкой» в вагон вошел седобородый узбек в тюбетейке и полосатом халате, подпоясанном красным платком. Обут он был в сапоги с галошами. В руках азиат нес авоську, набитую упаковками зеленого чая № 95, который в Москве никто не брал, в витринах стояли пирамиды, сложенные из пачек, зато где-нибудь в Средней Азии за ним буквально давились в очередях. Плановое снабжение. Мой друг Юра Ласкин, уроженец Ташкента, возил зеленый чай на родину чемоданами и ходил в гости к землякам не с бутылкой, а с заветной пачкой.

– Мамочка, смотри, смотри – Старик Хоттабыч! – ахнула девочка, прижавшись к матери.

Немногочисленные пассажиры заулыбались.

«Хоттабыч» почтительно наклонился и спросил меня:

– Уважаемый, где тут у вас Красная площадь?

– Через две остановки.

– А ГУМ?

– Там же.

– Спасибо, уважаемый!

Выйдя на «Площади Свердлова», узбек заметался по платформе, и мне пришлось выводить его к Кремлю. Я нарочно потащил деда по переходу через «Площадь революции», чтобы, как в детстве, подержаться за ствол нагана, который сжимал в руке бронзовый матрос. Иногда это приносило мне удачу. У Мавзолея толпился народ, ожидая чеканной смены почетного караула. Аксакал поспешил к зрелищу, а я рванул на улицу Куйбышева и, пробегая мимо ГУМа, увидел вывалившуюся из дверей очередь, куда длиннее той, что вытянулась к священным останкам.

Добежав до горкома и войдя в подъезд, я предъявил милиционеру партбилет, наволгший на взволнованной груди. Сержант долго сличал фотографию с оригиналом, отмечая, наверное, в моем лице некие одутловатые несоответствия. Слава богу, форма ушей, расстояние между глазами и прочие индивидуальные приметы с похмелья не меняются. Потом он проверил уплату взносов и глянул на меня с уважением: я только-только отдал партии три процента с гонораров за книжку стихов, а это – более 110 рублей, средняя тогдашняя зарплата.

Впрочем, старушка Мариэтта Шагинян носила в партком деньги сумками. Она писала книжки про Ленина, входившие в школьную программу. Кстати, зажать взносы считалось страшным проступком. Те, кому капало из многих источников, предпочитали переплатить, нежели предстать перед комиссией старых большевиков, отличавшихся крутостью времен Гражданской войны. Один дед с железными зубами, когда-то охранявший вагон с золотом, взятым у Колчака, а потом двадцать лет сидевший за левый уклон, бил костяным кулаком по столу и орал:

– У нас в двадцатом ни одного империала не пропало, ни одного камешка! – В голосе звучала застарелая гордость. – А вы червонец для партии зажилили! В двадцатом мы бы вас расстреляли как врага народа!

Теперь, при капитализме, я иногда думаю, что КПСС разогнали зря, лучше бы снабдили функциями налоговой полиции, уверяю, казна была бы полнехонька!

– Проходите, но обувочку лучше бы освежить! – посоветовал сержант, возвращая мне партбилет.

В самом деле, вскакивая в автобус № 148, я наступил в лужу и заляпал ботинки грязью. Для таких случаев возле входной двери стоял специальный агрегат с вращающимися жесткими и мягкими щетками. Имелся даже сосочек, из которого при нажатии педали выдавливался гуталин. Однако на моей памяти резервуар всегда был пуст: социализм давал сбои даже в горкоме.

Поднявшись в отдел культуры, я забежал в туалет – оглядеть себя и привести в порядок. С похмелья волосы у меня обычно дыбились. Прическу, смочив водой, я кое-как упорядочил, но бледность лица и краснота глаз меня выдавали. Я примерил взятые на всякий случай темные очки, но стал похож на шпиона из «Ошибки резидента». Эх, надо, надо было сказаться больным! Я сжевал мускатный орех, чтобы, как говорят теперь, освежить дыхание, и рассосал таблетку валидола, чтобы успокоить взволнованное сердце, потом умылся, высушив лицо и руки горячим воздухом, с воем бившим из пасти агрегата величиной с уличный почтовый ящик. Судя по чистоте и оснащенности горкомовского сортира, тут в светлое будущее продвинулись гораздо дальше, чем вся остальная страна.

Удерживая на физиономии выражение торопливой деловитости, я двинулся мимо бесчисленных дверей, мелькавших по обе стороны длинного коридора. Навстречу шли ответственные работники обоих полов, одетые в строгие темные костюмы, и только молоденькие секретарши позволяли себе немного яркой выпуклости. До революции здесь, около Биржи и Гостиного Двора, располагались «нумера», где купцы, воротилы и маклеры кутили под шампанское с хорошенькими грешницами. Наверное, их тени иногда забредают в кабинеты функционеров и шелестят бесплотными губами: «Ч-человек, дюжину устриц и шампанское!»

Наконец я добрался до нужной двери, обитой черным дерматином. Две скромные таблички сообщали о том, что здесь трудятся Л. Н. Алиманов и Н. Г. Лялин. Должности по традиции не указывались: в горком посторонние не ходят, а посвященные сами знают, кто где сидит и за что отвечает. От третьей таблички остались четыре дырочки и светлый прямоугольник с грязной окантовкой из отвердевшей пыли. Ветерана отдела Камынина недавно, за год до заслуженного отдыха, назначили директором парка культуры и отдыха, чтобы потом начислить побольше пенсию: зарплаты в горкоме были достойные, но умеренные. Я помедлил, меняя лицо. Входить к начальству следовало с выражением надежным, но не холуйским, да еще с оттенком самоиронии: в аппарате принято почти обо всем говорить шутейно. Пафос – для трибун. Но едва я взялся за ручку, как услышал за спиной натужный полубас, грянувший на весь этаж:

– «Не узна-а-ю-у Григория Грязно-ова-а!»

Я оглянулся.

– «Куда ты, удаль прежняя, дева-а-алась?»

Лялин пел, воздев руки и по-оперному выкатив грудь. Он был невысок, носат, ходил на каблуках, красил редеющие волосы и как выдвиженец из творческой среды позволял себе являться на работу в ярких пиджаках и пестрых галстуках. Остальные его коллеги напоминали мне служащих воинской части, которую зачем-то обмундировали в единообразные темно-синие финские костюмы. В тот день на Лялине были песочный блейзер с золотыми пуговицами, полосатая рубашка и галстук с драконами.

– «Пойдем в черто-ог мой, рыцарь долгожда-анный! – затянул он, увлекая меня в кабинет. – Я раны исцелю живой водо-о-ю…»

6. «Вы назначены палачом!»

– Отчего не рубит он сплеча?
– Не беда, немного подождете!
Не смущайте криком палача –
У него дебют на эшафоте.

А.

В кабинете друг против друга стояли два мощных стола, а третий, бесхозный, почти скрылся под горой брошюр, отчетов, писем, справок. Обстановка здесь почти не изменилась с тридцатых годов: довоенная массивная мебель с алюминиевыми инвентарными бирками, книжный шкаф со шторками, темные портьеры, схваченные в талии витыми кантами с кистями. На подоконнике в кадке рос фикус с большими, словно навощенными листьями. На столике стояла электрическая машинка «Ятрань» размером с пианолу. На стене висели два портрета: Ленин, масляный, потемневший, в облупившемся багете, и Андропов – новенький, недавно из типографии. Как ни старался художник, он так и не смог приблизить угловатые черты нового генсека к приятным среднерусским округлостям.

«Все-таки еврей…» – подумал я.

– Привет, Георгий, проходи, садись! – не отрываясь от бумаг, пригласил второй обитатель кабинета Леонид Николаевич Алиманов.

Вид него был странный: шея и плечи штангиста, короткая прическа с идеальным пробором, усики, как у Чарли Чаплина, а на носу бухгалтерские очки в тонкой оправе.

– «Вот он, вот о-о-он, рыцарь дерзкий! Он явился к нам на пир!» – пропел Папикян из какой-то неведомой оперы.

По-моему, половину арий Лялин просто придумывал на ходу.

– Коля, прошу тебя, не ори хоть сегодня! Мне справку вечером сдавать, – поморщился Алиманов.

– Умолкаю. – Парторг поиграл лохматыми бровями, тоже крашеными.

– То-то!

Между ними существовал некий приятельский антагонизм: Лялин был выдвиженцем из писательских рядов, а Леонид Николаевич – карьерным аппаратчиком, разные ветви партийной эволюции, вроде неандертальцев и кроманьонцев. Я посмотрел сначала на одного, потом на другого, пытаясь понять, что меня ждет теперь, когда моя рукопись попала на Запад. Но их лица не выражали ничего, кроме иронического сообщничества.

– Ну, Жорж, пришел твой час! – Лялин обнял меня: – «Не пора-а-ли мужчи-иною стать?»

– Георгий Михайлович, городской комитет партии очень рассчитывает на вас! – веско добавил Алиманов.

– «И ста-анешь ты царицей ми-ира, подруга нежная моя!» – снова забасил Папикян.

– Коля, просил же! – поморщился напарник. – Мы хотим, чтобы вы как молодой коммунист возглавили комиссию…

Я ощутил себя пациентом, которому сообщили, что смертельный диагноз – это ошибка, просто перепутали банки с мочой, а жизнь бесконечна и прекрасна!

– Какой комиссии? – счастливо поинтересовался я.

– «Достиг ты высшей вла-асти…».

– По персональному делу коммуниста Ковригина! – сурово молвил Алиманов.

Я обмер. Представьте: врач, сказав, что вашей жизни ничего не угрожает, тут же добавил: «А ножки-то ампутировать придется. Ложитесь-ка!» Ковригин был знаменем, даже хоругвью

деревенской прозы, классиком советской литературы, автором всенародно любимых рассказов и очерков о русском селе. Когда он появлялся на людях, казалось, это памятник сошел с постамента, чтобы размять бронзовые члены. В юности будущий писатель служил в кремлевском полку, стоял в карауле у Спасских ворот, и Черчилль, проходя мимо, похвалил его выправку. Сталину доложили, вождь с усмешкой разгладил усы и приказал: «Дайте бравому сержанту то, что он хочет!» Ковригин, смолоду сочинявший стихи, робко попросил выпустить их отдельной книжкой. Сборник немедленно вышел в свет.

– Почему я? – дрожащим голосом спросил я.

– Тебя рекомендовал партком. Лично Шуваев.

– А что с ним случилось?

– С Шуваевым? Ничего. Он в тебя верит.

– Нет, с Ковригиным.

– Случилось! – усмехнулся Алиманов. – Неприятная штука с ним произошла.

– Нет, не могу… – залепетал я. – Он великий писатель. А я… Нет, невозможно…

– Он прежде всего член партии! – отчеканил суровый аппаратчик.

– Жоржик, – замурлыкал добрый парторг. – Такие предложения делаются раз в жизни, отказываться нельзя. Тебя вычеркнут отовсюду. Но если ты сделаешь все правильно, это будет как последнее испытание на тренажере, а потом – космос. Ты понял?

– Это прежде всего поручение городского комитета партии! – проскрипел Алиманов и глянул на Лялина поверх очков.

– Да, конечно, поручение партии! – кивнул тот и запел: – «А ты, Алеша, – советский челове-е-ек!»

– Ну? – Леонид Николаевич смотрел на меня сквозь бухгалтерские стеклышки.

– А что он натворил?

– Согласишься – скажем.

– Даже не знаю…

– Ты хочешь, чтобы твой «Райком» напечатали?

– Хочу.

– Помоги нам, а мы поможем тебе.

– Но ведь…

– Чего ты боишься, ребенок? – всплеснул руками Лялин. – Помнишь персональное дело Бесо Ахашени?

– Помню.

– Чем все кончилось?

– Кажется, выговором.

– Значит, ничем. Соглашайся!

– Коля, не надо его упрашивать! – Очки недобро блеснули. – Видимо, у молодого коммуниста Полуякова другие планы. Он, вероятно, в «Посеве» хочет печататься. Кого дальше обличать будем, Георгий Михайлович? Армию пнули, над комсомолом позубоскалили. Может, теперь партией займетесь?

– Ну, Ленечка, ну, не надо так сразу! Я понимаю нашего молодого друга. Ковригин – глыба!

– Мы его в институте проходили… – подтвердил я.

– Все могут ошибаться. – Папикян почему-то посмотрел на портрет Ленина. – Наша задача – поправить классика, мягко, по-товарищески, не в ущерб творчеству. Заседание парткома будет закрытым. Никто ничего никогда не узнает.

– Хватит, Николай Геворгиевич! Все ясно: молодой коммунист Полуяков отказывается от поручения городского комитета. Он, наверное, не читал обращение Шолохова в завтрашней «Литературной газете»?

– Нет еще… – подтвердил я.

– Напрасно! – Алиманов с треском развернул «Литературку», приходившую в горком во вторник, на день раньше, чем ко всем подписчикам. – Вот, послушайте, юноша: «…Сейчас же не о литературе наша речь. Речь о самом существовании рода человеческого и колыбели его – Земли…» Понятно?

– Да, но…

– Жора, ты будешь жалеть потом всю жизнь! – Брови Лялина страдальчески зашевелились.

– Даже не знаю… Ну, хорошо, я попробую… А что он все-таки натворил?

– Пытался передать свою рукопись на Запад! – отчеканил Алиманов.

– «А далеко ли, матушка, литовская граница?» – взвыл парторг.

– Да вы что? – ахнул я, пораженный мистическим совпадением. – Сам?

– Нет, конечно. Через фээргэшного журналиста. Такая вот ерунда… – вздохнул Папикян. – Ну, пошли, что ли!

– Куда?

– К Клинскому.

– Может, все-таки… – Я попытался дать задний ход.

– «А где палач? Бежал? Тогда, мой отрок светлый, ты будешь супостату палачом!» – с особым чувством пробасил парторг.

– Коля, соображай, что поешь! – вскипел напарник. – Георгий Михайлович, всего доброго, мы вас больше не задерживаем!

И я понял: пути назад нет.

По красно-зеленой ковровой дорожке Лялин и Алиманов, как опытные конвоиры, повели меня в приемную заведующего отделом культуры горкома. Поговаривали, он происходил из настоящих князей Клинских, что на заре диктатуры пролетариата грозило гибелью, а позже закрывало все карьерные пути, так как детей русских «бывших» или, как тогда говорили, «лишенцев» до начала тридцатых не брали в вузы. Любопытно, что на инородцев из эксплуататорского класса этот драконовский закон не распространялся. Но теперь, при развитом социализме, дворянское происхождение стало предметом шутейной гордости. Первый секретарь МГК и член Политбюро Гришин однажды сыронизировал: «Я теперь как царь. Князь Клинский у меня в передней сидит…»

Секретарша в приемной встретила нас бессодержательной улыбкой. Оно и понятно: кто знает, зачем два ответработника ведут к начальству молодого писателя. Может, чествовать, а может, из партии выгонять…

– «Привет тебе, хранительница тайны, за жребием послал нас государь», – еле слышно пропел Лялин.

– Ждет, ждет! – замахала она руками.

Клинский, седой толстяк с синюшным лицом, стоял у окна и жадно, как узник сквозь решетку, смотрел на противоположную сторону улицы Куйбышева, где располагался ЦК КПСС. Я чуть улыбнулся, вспомнив один недавний конфуз с этим небожителем. Уморительная история! Расскажу, если не забуду…

Неторопливо поправив сборчатую штору, завкульт обернулся и шагнул к нам. Мы невольно вытянулись и подравнялись.

– Ну-с, Георгий… – произнес он тихо и протянул мне квелую руку.

– …Михайлович, – подсказал Алиманов.

– Ну-с, Георгий Михайлович, вы все поняли?

– Понял… – твердо ответил я, хотя ничего еще не понимал.

– Не подведете? Все-таки Ковригин – выдающийся писатель, а вы только вступаете в литературу.

– Не подведет, Василий Константинович! – с чувством ответил за меня Лялин и добавил: – У него диссертация по фронтовой поэзии.

– Я не вас пока спрашиваю, – поморщился Клинский и посмотрел мне в глаза. – По фронтовой? «Когда на смерть идут – поют…» Как дальше, забыл?

– «А перед смертью можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки…» – продолжил я.

– Правильно! «Разрыв – умирает друг…»

– «…И, значит, смерть проходит мимо…» – подхватил я.

– Молодец! Любите Семена Гудзенко?

– Люблю.

– Не подведете? Что-то вид у вас усталый.

– Не подведу. Пишу новую повесть. Работал до утра.

– Это хорошо. Надеемся на вашу зрелость, несмотря на молодость и прежние ошибки. Желаю успеха! – Он снова подарил мне свою вялую руку. – А вы задержитесь! – Клинский поморщился на Алиманова. – Что со справкой?

– В работе… – Втянув голову в атлетические плечи, тот побрел к приставному столику.

Мы с Лялиным вышли в приемную.

– Жоржушка, лапочка! – обнял меня парторг. – Держался ты по-взрослому!

– А про какие ошибки он говорил?

– Забудь.

Николай Геворгиевич заговорщицки подмигнул секретарше:

– «Из скал и та-та-та у нас, варягов, кости…»

– Т-с-с! – Она приложила палец к губам. – Утвердили?

– А то!

– Поздравляю! – Дама расплылась в доброй улыбке, словно мамаша, узнав про первое свидание сына.

– А что князь такой хмурый? – интимно полюбопытствовал Лялин.

– Ой, не спрашивайте! Утром на совещании Виктор Васильевич сделал ему замечание…

– Плохо!

– Да уж чего хорошего!

Клинский умер через три года. Ельцин, став первым секретарем МГК КПСС, из-за пустяка наорал на него, как пьяный прораб на оплошавшего бригадира бетонщиков, – и сердце Рюриковича обиды не снесло. Алиманов жив, долго работал в «Газпроме», теперь обитает на Кипре.

Когда я спускался вниз, на улицу, в голове крутилась концовка знаменитого стихотворения Гудзенко: «…И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую».

7. Эротическая контрабанда

Вчера у знакомых на видео
Порнухи навиделся всласть.
За что же ты нас так обидела,
Рабоче-крестьянская власть?

А.

Выйдя из горкома, я нашел работающий телефон-автомат и набрал номер Леты. Мне снова ответила старуха:

– Уехала на репетицию.

– А когда вернется?

– Поздно. У нее же сегодня «Пигмалион»…

– Спасибо.

– Кто спрашивает?

– Знакомый.

– У знакомого есть имя?

Я помедлил с ответом. В наушнике тихо пел, доносясь, очевидно, из магнитофона, сладкий, как пахлава, голос Бесо Ахашени. Любит все-таки его наш народ!

– Вы где, молодой человек, ау? Как вас зовут?

– Меня? Антон… – в третий раз соврал я.

– Звоните, Антон, может, хоть вам повезет. Утром после девяти, а вечером после одиннадцати. И передавайте привет Василию с Федором! – диспетчерской скороговоркой протараторила она. – Пока!

Я повесил трубку и побрел к метро.

Кто не знает Бесо Ахашени, знаменитого барда, автора всенародно любимых песенок? Я и сам их мурлыкаю в застолье, особенно про абрикосовую косточку. Правда, с недавних пор он стал сочинять скучные и путаные исторические романы. Главным героем в них был бедный, но гордый горный князь, постоянно спасавший немытую и нечесаную Российскую империю от заслуженного позора. Бесо Шотаевич происходил из семьи видных кавказских революционеров. Они устанавливали на Кавказе Советскую власть, а потом не поладили со Сталиным. Вождь сурово наказал их за троцкизм, под которым, как и под черносотенством, подразумевалось все недоброе. Советскую власть бард ненавидел самозабвенно, но тихо и партийные собрания не прогуливал. Когда в своем черном хромовом пиджаке, интеллигентно сутулясь, он направлялся через ресторан в партком – платить взносы, какая-нибудь впечатлительная дама, забыв про рыбную солянку, шептала вслед: «Ах, Ах-хашени пошел!»

– Подумаешь, песенки пишет, – скрипел зубами задетый за живое кавалер. – Я таких песенок десяток за ночь налялякаю.

– Ну, так и налялякай!

– Не хочу! – обижался кавалер и опустошал рюмку.

И вдруг случилось страшное: в партком пришла «телега» о том, что гражданин и коммунист Ахашени Б. Ш. предпринял пресеченную органами попытку провезти через советскую границу партию видеокассет порнографического содержания. Просим, как говорится, отреагировать и принять меры.

– Что же теперь будет?! – гадали все.

– Разберемся, у нас и место для этого подходящее! – пообещал, улыбаясь, Шуваев и назначил экстренное заседание по персональному делу коммуниста Ахашени.

Соль шутки в том, что партком Московской писательской организации размещался в бывшей спальне князя Святополка-Четвертинского. Причем скромный кабинет Шуваева располагался в отгороженном алькове, где аристократы плодились и размножались, а сами заседания проходили в просторном каминном зале за длинным столом, покрытым, как и полагается, зеленым сукном. В прежние времена тут сидел Генеральный секретарь ССП Александр Фадеев, любивший это место за уникальную близость к ресторану, шумевшему буквально за дверью. Иосиф Виссарионович на заседаниях комитета по Сталинским премиям иной раз спрашивал:

– А почему нет Александра Александровича?

– Болеет душой… – отвечали, отводя глаза.

– Попросите его болеть душой пореже! – вздыхал вождь.

Тем временем история, приключившаяся с бардом, взволновала умы. Из слухов, намеков, догадок и пересказов оформился сюжет конфуза. Ахашени возвращался поездом из Польши, где давал концерт. Там его любили, считая почему-то диссидентом. В этой ненадежной капризной стране народной демократии уже началась ползучая реставрация капитализма. Можно было запросто купить пикантные журналы, брелоки с обнаженными красотками, даже кассеты с эротическими фильмами, как то: «Глубокая глотка», «Эммануэль», «Калигула», «Греческая смоковница» и др. Этим батоно Бесо и воспользовался, так как в отличие от подавляющего большинства граждан СССР имел дома видеомагнитофон. В те годы наличие «видака» решительно выделяло обладателя из общего ряда, как сегодня, скажем, выделяет личный «Порш» или «Ягуар».

Но будучи человеком опасливым и зная о предстоящем таможенном досмотре, бард из предосторожности прилепил кассеты скотчем к внутренней стороне откидывающегося мягкого сиденья. Ехал он, разумеется, в СВ, попивая коньячок с верной спутницей и наблюдая, как мелькают в окне европейские черепичные кровли, которые вскоре должны были смениться ненавистным серым шифером Отечества. Однако таможне предшествовал пограничный контроль.

Напомню, как это происходило, если забыли. В вагон с двух сторон заходили пограничники. Офицер забирал паспорта и вежливо просил пассажиров выйти из купе. Затем туда вбегал сержант-срочник и с заученной сноровкой проверял тесное пространство: подпрыгнув, он озирал глубокую нишу над входом, затем, припав к полу, заглядывал в отсеки внизу, под столиком, и наконец резким движением откидывал сиденья над багажными полостями. Видимо, инструкцию по проверке купе разработали в далекие годы, когда белополяки или белофинны норовили заслать к нам, спрятав в вагонных пустотах, шпионов и диверсантов, их надо было обнаружить и обезвредить стремительно, не дав опомниться. И хотя после победы во Второй мировой войне вокруг СССР образовался дорогостоящий и, как показала история, ненадежный пояс союзных держав Варшавского договора, бдительную инструкцию отменить забыли.

Офицер-пограничник, конечно, узнал барда, нежно попросил выйти из купе и запустил для формальной проверки сноровистого сержанта: порядок есть порядок. Тот влетел, подпрыгнул, припал, заученно откинул сиденья и оторопел: на него в упор смотрели выпуклые женские ягодицы, налитые девичьи груди и пикантно стриженные дамские лобки, едва прикрытые кружевами. Я сам тянул срочную службу в Германии и доложу вам: молодому призывному организму, измученному казарменным воздержанием, увидать вдруг такое – испытание. Однажды ефрейтор Пырков принес в нашу батарею колоду веселых карт – и всю ночь потом двухъярусные койки шатались и скрежетали от ворочавшихся и содрогавшихся молодых тел. Бром не помог.

– Товарищ майор, идите сюда… – сдавленно позвал сержант.

– Ну что еще там такое? – недовольно отозвался офицер, объяснявший барду, как он любит песенку про голубой трамвай.

– Посмотрите, что здесь…

Командир посмотрел и крякнул.

– Ваше?

– Мое… – смутился Ахашени.

– Ну, зачем же так? Положили бы в чемодан. Вас-то уж никто не стал бы досматривать.

– Могу спрятать.

– Теперь поздно. Надо протокол составлять. Служба! Сержант, зови таможню. Извините!

По тогдашним суровым законам о проступках, порочащих звание советского гражданина, следовало сообщать по месту работы. Не важно: подрался ты в бане, уснул спьяну на лавочке у Большого театра или обрюхатил в командировке мечтательную провинциалку, – обо всем полагалось сигнализировать на службу, а если провинившийся состоял в рядах КПСС, то и в партком.

На экстренном заседании по персональному делу коммуниста Ахашени китайскому яблоку упасть было негде. Собрались все члены парткома, включая больных и командированных. Кто-то даже, не досидев положенный срок в Доме творчества, примчался в Москву: не каждый день знаменитых бардов прихватывают на «клубничке». Тут надо сказать, наш партком не был однороден, имелись свои ястребы, голуби и дятлы. Любопытно, что 21 августа 1991 года в одночасье многие сменили оперения, но про это как-нибудь в другой раз.

И вот обмишурившийся Бесо Шатоевич в своем знаменитом хромовом пиджаке предстал перед товарищами по партии. На вопрос, как же он дошел до такой жизни, Ахашени, пряча глаза, всерьез стал объяснять, что-де пишет новый исторический роман, где есть у него отчетливая любовная линия с довольно откровенными эротическими сценами, необходимыми для раскрытия духовного мира героев. А так как он сам по возрасту и немощи давно забыл плотские реалии, то решил освежить интимную сторону бытия при помощи эротических фильмов, сознавая и презирая их низкий идейно-художественный уровень. С этим и только с этим связана его попытка ввезти в страну несколько пикантных видеокассет…

– Но вы же знали, что это запрещено! – заклекотала «ястребица» Метелина.

– Знал. Виноват. Подвела жажда художественной достоверности.

– Большому таланту многое прощается… – прогулил «голубь» по фамилии Дусин.

– Тихо! У нас тут персональное дело коммуниста, а не таланта, – поправил Шуваев, с трудом сдерживая ухмылку.

– В уставе нашей партии нет слова «талант», – поддержал «дятел» Ардаматов.

– Бесо, а где ж твои милашки в «комбинашке», конфисковали? – захохотал Герой Советского Союза Борозда.

– Правильно, – поддержал глухой, как тетерев, Гриша Красный. – Я тоже вспоминаю дело писателя Малашкина в двадцать седьмом году…

– Товарищи, давайте поближе к современности, – перебил партсек. – Бесо Шотаевич, вы осознаете аморализм вашего проступка?

– Осознаю, но партия учит нас не отрываться от жизни, а мой возраст…

Члены парткома сидели, пряча хитрые, а то и блудливые улыбки. Кто-то не утерпел и весело хрюкнул. Все понимали, бард лукавит: женат он не первым браком на сравнительно молодой особе, вряд ли позволяющей ему совсем уж забыть телесную сторону бытия. Но крови никто не жаждал: Советской власти Ахашени не изменял, в грех диссидентства не впадал, сионизмом и русофильством не баловался. За что же его всерьез карать? За жажду художественной достоверности? Тогда на его месте может оказаться каждый.

Партком, выслушав сбивчивые оправдания, попросил виноватого выйти за дверь, в ресторан. Посоветовались и решили вынести выговор без занесения, а это вроде товарищеского «ай-ай-ай». О партийных взысканиях тех времен я еще, может быть, расскажу, если не забуду. Затем призвали эротического контрабандиста. Шуваев, ухмыляясь, объявил приговор

и выразил уверенность, что в следующий раз, взыскуя художественной достоверности, Ахашени не станет провозить через границу порнуху, обойдясь внутрисоюзным и внутрисемейным материалом.

– Сущая правда! – поддержал Борозда. – Молодых бабешек кругом – общелуйся!

Ахашени сердечно поблагодарил за дружеское понимание, но не проставился, хотя все этого ждали. Впрочем, его скаредность, редко встречающаяся у кавказцев, была общеизвестна. Важнее другое: несмотря на снисходительность коллег, «проработка» сильно задела самолюбие барда, и едва Советская власть зашаталась, он оказался в первых рядах тех, кто «давил гадину». После разгона КПСС уже никто не мешал ему освежать эротические впечатления всеми доступными способами. Последний роман с юной дамой он вкусил в городе влюбленных Венеции, куда убыл из Отечества, взбаламученного не без его помощи. Там он и умер вскоре в состоянии сердечной увлеченности, что вызывает только хорошую мужскую зависть.

8. Мороженая свинина

Мой друг, не помышляй о многом,
Смирись и не перечь судьбе!
Мы ходим по земле под Богом,
Под «мухою» и КаГеБе…

А.

Вторник у нас в «Стописе» – полусвободный день, когда все приходят в себя после выпускной горячки. Вчера за полночь был подписан и отпечатан свежий номер, который вел Макетсон – наш ответственный секретарь, поэтому я и смог оторваться на свидание с вероломной Летой, а затем с горя напиться пива с водкой. Голова утробно болела, а душа страдала от жестокого партийного поручения, обрушившегося на меня, как ледяная глыба с нечищеной зимней крыши.

Поэтому, выйдя из метро на «Баррикадной», я поспешил не в редакцию, а в Дом литераторов, чтобы оздоровиться, перекусить и обдумать случившееся. Посоветоваться я ни с кем не мог, не имел права: Лялин на прощание меня обнял и пропел приказ строго блюсти государственную тайну: «Ты смотри, никому не рассказывай, что душа лишь тобою полна…»

Однако странное предчувствие, что мое задание уже ни для кого не секрет, появилось у меня, едва я открыл тяжелую дверь писательского клуба. У входа, как всегда, стоял на своем посту администратор Семен Аркадьевич Бородинский, бодрый старичок, ростом чуть выше циркового лилипута. Смолоду он служил в Ансамбле песни и пляски Красной Армии, где его выпускали на сцену в паре с высоченным русоволосым бойцом для забавы простодушных военных зрителей. Выплясав пенсию, Бородинский устроился в ЦДЛ и сторожил двери лет уже двадцать, подозрительно оглядывая каждого вошедшего и спрашивая фальцетом:

– Ваш билет?

– Забыл…

– Покиньте дом!

Семен Аркадьевич прославился тем, что однажды не пустил на порог члена Политбюро ЦК КПСС Микояна, приехавшего пообщаться с писателями.

– Ваш билет! – потребовал он у соратника Сталина.

– Мой билет – мои усы! – хотел отшутиться государственный муж.

– С усами – в парикмахерскую. Покиньте дом!

К дурному администратору придвинулся здоровяк в штатском, которому Бородинский едва доставал до кобуры, выпиравшей из-под пиджака.

– Идиот, это же Микоян!

– Какой еще Микоян? – начал зеленеть Семен Аркадьевич.

– Анастас Иванович, какой же еще!

– Ах, Анастас Иванович! – лучезарно улыбнулся цербер. – Добро пожаловать, Анастас Иванович, в наш дом! – и упал без чувств.

Микоян был польщен этим обморочным трепетом и запретил увольнять оскандалившегося администратора. Будучи молодым поэтом, я старался всеми правдами и неправдами проникнуть в ЦДЛ, чтобы выпить, закусить и пообщаться с коллегами. Бородинский не раз, крича: «Покиньте дом!» – гнал меня вон. Потом, по мере того, как я обживался в литературе, приобретая некоторую известность, он становился снисходительнее, даже деликатно отворачивался, чтобы я, безбилетный сочинитель, мог прошмыгнуть мимо. Ну а когда в 1981 году мне вручили членское удостоверение с золотым тиснением на пурпурной коже, Семен Аркадье-

вич стал встречать меня дружеской улыбкой, останавливая жестом попытку предъявить-таки билет. А мне этого так хотелось… Но в тот день Бородинский встретил меня не улыбкой, а почтительной суровостью, он даже чуть вытянулся по стойке «смирно». Я не придал этому значения, а зря…

Вешалки гардероба напоминали голые ветки облетевшего леса: до начала вечерних мероприятий Дом литераторов пустовал, если днем не проводили собрания творческих объединений – прозаиков, критиков, переводчиков, поэтов, драматургов, детско-юношеских писателей. Куртку у меня принял лысый, как пушечное ядро, Федор Донатович, прозванный за немногословность «Данетычем». Ветеран войны, он всю жизнь отдал армии, служил старшиной, и даже суровые его морщины напоминали складки сапожного голенища. Теперь вот прирабатывал к пенсии, принимая и выдавая одежду. Мою куртку Данетыч, как и положено, определил без номерка на боковую вешалку для сотрудников.

– Газеты еще не приносили? – спросил я.

– Нет, – ответил он.

– А Козловский сегодня будет?

– Да.

Сначала я спустился в нижний буфет. Там Володя Шлионский в окружении друзей-собутыльников читал новые стихи. Он стоял на стуле, как пьяный памятник, размахивал пустой рюмкой, декламируя:

…И всю ночь огоньки маникюра
Мою кожу сжигают впотьмах…

– Гений! – лезла к нему целоваться нетрезвая дама в платье цвета первомайской демонстрации.

Увидев меня, поэт замолк и странно усмехнулся. Остальные тоже зашептались, посматривая в мою сторону не то с осуждением, не то с опаской.

– Да ну его к черту! – воскликнула дама. – Читай, Володенька, читай!

Я понял: в нижнем буфете сосредоточиться и обдумать ситуацию не получится, лучше сесть в Пестром зале, наверху, если уже закончились комплексные обеды. Но там обнаружилась другая напасть: усталый человек со шкиперской бородкой спал в углу, уткнувшись лбом в полированный стол. Стасик Гагаров третий месяц праздновал выход в свет своего нового романа, начинавшегося, помню, словами: «Город Женева расположен на берегу одноименного озера…» Пробуждение Гагарова не обещало ничего, кроме пьяного вязкого дружелюбия, внезапно переходящего в ненависть. Через три года, когда в стране начнется антиалкогольная кампания, Стас зашьется и возглавит Общество трезвости Союза писателей, будет обходить столики, по-чекистски принюхиваясь: не плеснул ли кто в «Байкал» запрещенную водку или, не дай бог, коньяк. Но его борьба с пьянством продлится недолго, он внезапно умрет: природа не прощает вероломства. А как еще назвать резкое прекращение притока в организм алкоголя, к коему и почки, и печень, и сердце привыкли за десятилетия совместной жизни?

Тогда я решил осесть в баре. Но там меня ждала иная угроза: за стойкой с угрюмой целеустремленностью нарезывался лидер «тихой лирики» мрачный Анатолий Перебреев. Както он сломал челюсть фокуснику Игорю Кио, тот показался ему слишком оптимистичным. Послав всемирно известного артиста в нокаут, тихий лирик буркнул: «Ненавижу иллюзии!» – и заказал еще водки. За этот варварский поступок ему на год запретили посещать ЦДЛ. Сидеть с ним рядом мне не хотелось: опасно, да и дышать трудно: подобная атмосфера, думаю, царит на планетах, где в недрах идут не термоядерные, а самогонные процессы. Умер Перебреев в конце 1980-х. По слухам, запил литром водки какой-то мужской возбудитель, привезенный друзьями из Индии. Что и говорить: по-гусарски!

Я прошел в знаменитый Дубовый зал, где располагался один из лучших ресторанов тогдашней Москвы. Здесь же иногда прощались с видными литературными покойниками, как минимум лауреатами Госпремии. Возле резной колонны ставили принесенный из подсобки черный наклонный постамент, на него водружали гроб. Панихида начиналась обычно в 12.00. К часу дня уже ничто не напоминало о недавней скорбной церемонии: столы-стулья возвращались на свои места, а на скатертях тарелки, бокалы и приборы ждали оголодавших писателей. Лишь еловый запах витал в воздухе, гонимый ароматами солянки или горохового супа. Кстати, почему-то именно столик у колонны, где обычно ставили гроб, считался особенно престижным и всегда был зарезервирован для важных гостей.

Сегодня на почетном месте громоздился усатый, пузатый Вовин – знаменитый ведущий «Международной панорамы», член Центральной ревизионной комиссии КПСС и, как бы мы теперь сказали, спичрайтер Брежнева. Афоризм века «Экономика должна быть экономной» придумал он. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что в 91-м Вовин станет крутым антикоммунистом и послом России в Израиле, я бы расхохотался. Однако именно так и случилось. Перед ним торчала початая бутылка шампанского, а на огромном блюде дымился шашлык. Его живот был столь велик, что до мяса обозреватель еще кое-как с помощью вилки дотягивался, но бутылки достичь не мог и всякий раз, чтобы наполнить бокал, звал Алика – голубую достопримечательность ресторана. Манерами официант напоминал капризную модницу в брючном костюме и вел себя с томной жеманностью, которая тогда была в редкость, на него даже приходили специально посмотреть. Теперь, чтобы увидеть такое, достаточно включить телевизор.

– Алик! – в очередной раз позвал Вовин, указывая пальцем, напоминающим финик, на опустевший бокал.

– Ну, вот опять… – проворчал халдей, нервно поправляя локон. – И куда только влезает!

Под высоким витражным окном неприметно пил кофе Ярополк Васильевич Сазанович, заурядный румяный дедок с седой стрижкой. Он занимал незначительную должность консультанта правления, но сидел в отдельном кабинете и выполнял таинственные поручения. Сазанович лет тридцать был разведчиком-нелегалом в Скандинавии, спалился из-за «крота», заведшегося в Москве, и его, резидента, едва успели вывезти через Финляндию на родину в рефрижераторе с мясом. Но «крота» разоблачили гораздо позже, а тогда провал объяснили слабой конспирацией, Сазановича сослали в Союз писателей, где он дорабатывал до пенсии, заодно, чтобы не терять навыки, приглядывая за писателями, склонными по легкомыслию к антигосударственным проступкам. Бывший нелегал молча кивнул на свободное место рядом с собой. Я подсел.

– Обедал? – спросил он.

– Нет еще.

– Вырезка сегодня хорошая. Конечно, не такая, как у норвегов, но не пожалеешь.

Ярополк Васильевич говорил вполне отчетливо, но с неуловимым акцентом, привязавшимся за годы жизни на чужбине, и очень тихо, почти не разжимая губ. Видимо, этому специально учат шпионов, чтобы нельзя было подслушать или угадать сказанное по артикуляции.

Я позвал Алика. Он принял заказ с неприязнью и ушел, покачивая бедрами.

– Ну что, влип? – спросил Сазанович, помешивая ложечкой кофе.

– Вы уже знаете? – удивился я.

– Гоша, государство – это люди, а государственная тайна – это слова. Понял? Зря ты согласился.

– Почему?

– Скоро поймешь.

– А как отказаться?

– Сказал бы, что ты внебрачный сын Ковригина, – скупо улыбнулся Сазанович.

– Не сообразил. А что я мог? Это же партийное поручение…

– Бывают поручения, Гоша, после которых тебя вместе с мороженой свининой вывозят… – На его лице выразилась неизбывная обида.

– И что теперь делать?

– Попытаться понять, зачем и кому все это понадобилось, почему выбрали именно тебя и чего они от тебя хотят. Ошибешься – костей не соберешь. Просчитаешь и сделаешь верный ход – выиграешь. Мысли и существуй! Ну, давай, к вырезке возьми соус ткемали. Томатный – подкис.

Сазанович встал, положил на стол рубль с мелочью, подумав, добавил гривенник и скрылся. Следом за ним, жадно допив шампанское, бросив на скатерть мятую десятку и едва не опрокинув животом стол, поднялся Вовин. Пыхтя и отдуваясь, он двинулся к выходу, а, проходя мимо меня, погрозил пальцем-фиником. Сердце мое упало: «И этот уже знает!»

– Что пить-то будешь? – грубо спросил халдей.

– Водку. Сто пятьдесят.

– Мужлан! – проворчал официант, удаляясь.

В зал шумно вошел контр-адмирал, он вел за руку лысого круглолицего пузана годков тридцати, похожего на раскормленного неряху-подростка. Хлопая поросячьими ресницами, тот ковырял в носу.

– Покушать, Тимур Аркадьевич? – сразу подлетел Алик, обожавший начальство.

– И выпить тоже! – раскатисто ответил флотоводец, заведовавший отделом в газете «Правда».

9. Кому это надо?

Сначала прыг и чик-чирик,
А после гвалт трескучий.
Как много шума да интриг
Вокруг навозной кучи!

А.

Алик брезгливо принес мне графинчик, я выпил рюмку, закусил корочкой черного хлеба с горчицей и, ожидая, пока принесут обед, призадумался. Мозг от водки прояснился, в подлых нагромождениях бытия забрезжили смысловые очертания. Итак, по порядку: с Ковригиным случилось то, что могло произойти со мной, но Бог отвел. Черный жребий выпал классику. Одно непонятно: почему столько шума? Разве рукопись советского писателя первый раз тащат за рубеж без разрешения инстанций? Несколько лет назад разразился скандал с альманахом «Метроград». И что? Ваксенов героем укатил в Штаты, а сын генерала ГКБ Витька Урофеев, второй составитель «Метрограда», продолжает служить в Институте мировой литературы и постоянно пьет в ЦДЛ водку с подозрительными иностранцами. Поговаривают, делает он это с одобрения органов. Но что и когда у нас делалось без их одобрения? Да и кто он, собственно, такой этот Витька – так, мажор с гнусными наклонностями. А Ковригин – гигант, классик! Его могли тихо отматерить на Лубянке, никто бы никогда не узнал. Вон Евгений Тушонкин постоянно влипает в антисоветские истории, а все как с гуся вода: сто стран объездил.

А вот я сам дальше Венгрии в Европу не проникал, но вроде бы меня включили в резерв делегации, которая в ноябре полетит в Италию на встречу «Писатели за мир и прогресс». Надо будет забежать к Мише Семеркину узнать, все ли в порядке.

– Егор, не катай хлебные шарики! – на весь ресторан грянул контр-адмирал.

– Воспитывает своего урода! – пояснил Алик, подавая мне солянку.

Я выпил еще рюмку, зачерпнул ложкой гущу и убедился: оливок, мясной и колбасной нарезки в оранжевой огуречной жиже почти не осталось. Не повезло. Может, повезет в любви? Я вспомнил, как вероломная Лета, положив мне на плечи руки, прошептала: «Только не спеши! Все будет, даже больше, чем ты ожидаешь! Только не спеши!»

Водка, обогрев организм, разбудила половой инстинкт. Но подавив зов плоти, я попытался, как советовал старый нелегал, понять: кому это все надо? Хотят устроить скандал вокруг Ковригина? Зачем? По слухам, Андропов на секретном совещании объявил: диссиденты – ерунда, мелочь, их можно взять за одну ночь, настоящий враг Советской власти – ползучий русский национализм. Его пора бы искоренить раз и навсегда. А Ковригин как раз – вождь почвенников, он пишет о поруганных русских святынях, замордованной деревне, выброшенных из храмов иконах, носит на пальце перстень с профилем последнего государя-императора, сработанный из золотой царской монеты, да и про евреев нет-нет, а ввернет обидное иносказание. Значит, решили все-таки устроить показательную порку главы «русской партии»? Похоже…

– Егор, отставить водку! – рявкнул контр-адмирал. – Еще суп не принесли. Успеешь нажраться!

Несмотря на молодость, я уже пообтерся в Союзе писателей и кое-что понимал в большой политике. Внешнее единство советской литературы было обманчиво, на самом деле она распадалась на два явных лагеря – патриотов-почвенников и либералов-западников. Патриоты, как я понимал, – это люди, которые любят свою родину и, что еще важнее, обладают кровными правами на такую любовь, они с ревнивым подозрением относятся к тем, кто выказывает при-

вязанность к нашему Отечеству, не имея на то генетического повода. Либералы-западники со своей стороны тоже обожают Родину с ее просторами, богатствами, замечательным языком и литературой. Но они с вечной печалью очей понимают: в искренность их любви «коренные» все равно не поверят. Так стоит ли навязываться? Не лучше ли подумать об отъезде в иные края? Кроме того, корневые патриоты настолько ослеплены «первородством», что не хотят видеть изъяны Отечества. А вот либералы не ослеплены и замечают все недостатки, как через увеличительное стекло. Они душевно хотят залечить раны и ссадины бестолкового народа, отмыть, причесать, приодеть «снеговую уродину», опираясь на опыт цивилизованного мира. А их бранят за это низкопоклонниками и космополитами. Значит, при Андропове чаша весов качнулась в их сторону? Похоже…

…Я вспомнил, как, мягко налегая тугой грудью, Лета остановила мою ищущую руку и прошептала: «Даже бо-ольше, чем ты ожидаешь!» В слове «бо-ольше», произнесенном с особой интонацией, скрывалась надежда на проникновение в бездну неведомой женственности. Лет в четырнадцать я нашел на библиотечной полке толстую-претолстую «Биологию» Вилли (забавная фамилия!) и, листая, наткнулся на схематическое изображение тайны, носящей странное научное название «вульва». Рисунок напоминал контурную карту какого-то затейливого побережья с глубоким фьордом…

– Егор, не чавкай, балбес, не части с водкой, твою мать! – бухнул контр-адмирал. – И не чмокай, как свинья!

Тем временем из княжеской спальни вышел наш партийный вождь Владимир Иванович Шуваев. Судя по насупленному виду, направлялся он к первому секретарю организации Теодору Тимофеевичу Сухонину. Чтобы попасть к ТТ, надо было пройти через ресторан, бар, Пестрый зал и подняться на антресоли, где помещались правление и приемная. Шуваев задержался у столика контр-адмирала, командным ревом воспитывавшего непутевого сына, – решил, видно, покалякать с членом редколлегии главной партийной газеты.

Владимир Иванович был мужиком старой закалки. Он воевал, попал в плен, потом – на поселение, позже работал журналистом, кажется, в Молдавии. Шуваев смолоду писал стихи, кстати, вполне приличные, да еще ко всему прочему обладал чувством юмора, что большая редкость для провинциального партийного кадра. Зла на Советскую власть он не держал, а про то, что с ним случилось, говорил так:

– Егор, ты пойми, люди в плену себя вели по-разному, кто-то сдох, но не скурвился. Кто-то, наоборот, сразу переметнулся к фрицам. А из плена возвращались толпы. Как разберешься, как всех перепроверишь? Никаких «смершей» не хватит.

– Зачем же всех проверять?

– А как ты иначе отделишь агнцев от козлищ? Вот и решил Хозяин: поживите-ка вы, парни, покамест подальше от Москвы, а мы за вами понаблюдаем. К тому ж всю войну кричали: попал в плен – предатель, пропал без вести – изменник. Обидно, конечно, да иначе не победить. А теперь сам подумай, как можно сразу после Рейхстага уравнять вернувшихся победителей с нами, кто у немца побывал? Нельзя сразу. Люди бы не поняли. Калеки обиделись бы. Надо было выждать. У Сталина на такие вещи всемирно-исторический нюх имелся. Он меньшинство карал, а большинство радовал. Тем и брал.

– Но ведь это же несправедливо!

– Справедливо, Егор, что мы с тобой сидим и разговариваем. Я парторг, а ты комсорг, несмотря ни на что. Понял?

Поговорив с адмиралом и его недоделанным сынком, Шуваев заметил меня, подошел и кивнул на водку:

– Рано начинаешь!

Замечание можно было понять двояко: мол, середина дня, а ты уже с рюмкой. Или в более обидном смысле: еще толком ничего не написал, а уже пропиваешь талант в Дубовом зале. Заметив мое смущение, партсек подсел ко мне со вздохом:

– Сам бы сейчас выпил…

– Водочки? – я с готовностью потянулся к графину.

– Нет, водку мне нельзя. Врачи разрешают только коньяк. Сердце у меня маленькое.

– В каком смысле?

– В прямом. Заболело, пошел проверяться в нашу поликлинику, врачи ахнули: «Чудо! Феномен! Как вы с таким маленьким сердцем живете?» «Нормально живу, – говорю. – Ничего такого никогда не чувствовал: воевал – не чувствовал, сидел – не чувствовал, а как в партком сел – сразу почувствовал…» – Он подозвал официанта: – Алик, пятьдесят коньячку!

Обычно медлительный и всем недовольный, халдей резво побежал в буфет, поигрывая задом.

– Был в горкоме? – спросил Владимир Иванович.

– Был…

– Понял?

– Ничего не понял.

– И я ничего не понял. Кстати, все уже все знают. Адмирал тоже. Выпытывал, что да как. Видел сынка-то? Вот ведь природа как играет! Дед его, Аркадий Гайдар, в шестнадцать лет полком командовал, а внук, твой тезка и ровесник, между прочим, – болван болваном, хоть в школу для малолетних дебилов отдавай. Горе семьи, засунули в какой-то НИИ, там и коптит…

– А что адмирал сказал про Ковригина? – спросил я.

– Тимур тоже ничего насчет Ковригина понять не может. Тут, мил человек, какая-то хитрая многоходовка. Чую! Тебя, желторотого, зачем-то втянули.

– Сказали, это вы меня порекомендовали.

– Кто сказал? – подскочил Владимир Иванович.

– Лялин.

– Вот хитрован! Врет. Я тебя до последнего не отдавал. Уперлись: надо молодому члену парткома настоящее дело доверить. Пусть, мол, докажет, что умеет не только пасквили на комсомол и армию строчить. Я им говорю: это ж как новобранца на дзот посылать! Отвечают: выживет – Рейхстаг будет брать.

– Какой Рейхстаг?

– А леший их разберет! В общем, Егор, не отбил я тебя, не смог.

– Может, мне все-таки отказаться?

– Раньше надо было, а теперь поздно. Дезертиром ославят. Они что-то задумали и почему-то решили начать с Ковригина. Зачем? Им что – настоящих антисоветчиков мало? Видно, по русакам хотят ударить.

Алик торопливо принес коньяк. На край рюмки была надета долька лимона. Уважает начальство.

– Спасибо, мил человек!

– Может, покушаете?

– Не в аппетите я сегодня. – Шуваев опрокинул рюмку, замер, прислушиваясь к благим переменам в сердечно-сосудистой системе, и закусил, морщась, лимоном.

– А что же мне делать? – спросил я.

– Без моего разрешения ничего. И не пей! Не тот у тебя период. Веселая жизнь теперь у нас начнется. Потом, если выиграем или опростоволосимся, тогда хоть залейся. Ладно, пойду к ТТ. Может, этот лис вологодский что-нибудь унюхал?

Владимир Иванович ушел повеселевшей походкой. Алик бухнул передо мной тарелку с черным пересушенным мясом.

– А можно соус ткемали?

– Нет. Я и вырезку-то на кухне еле выпросил.

– Тогда еще сто.

– Нельзя было сразу взять? Что я тебе, мальчик – в буфет туда-сюда бегать!

10. Театральный разъезд

Ты лучше б нос себе отгрыз
Иль что-нибудь пониже!
Нет, не любить тебе актрис,
Как не бывать в Париже…

А.

Я расплатился за обед, посмотрел на часы: самое время заглянуть в редакцию, проведать вверенное мне хозяйство, узнать, не звонила ли провинившаяся Гаврилова, и мчаться домой: после пьяного вчерашнего возвращения надо реабилитироваться. Лета Летой, а жены без ласки звереют. Но тут на мою беду в Дубовый зал ввалилась компания Вовки Шлионского. Словно заложника, они вели под руки приземистого меднолицего кавказца в высокой папахе из серебристой мерлушки. Дама в красном висела на плечах джигита, как башлык, и стонала с доронинским придыханием:

– Шовхал, ты гений!

– Жорка, – увидав меня, крикнул Шлионский, – иди к нам – гуляем!

Отчетливо понимая, что гублю свою семейную жизнь, я пошел…

Алик, почуяв поживу и опережая прочих официантов, метнулся к ним, усадил за свой стол: кавказцы в те годы жили широко и на чаевые не скупились.

– Что пить будем? – ласково спросил халдей.

– Все, дорогой, пить будем. Неси! – ответил Шовхал.

Он прилетел утром, чтобы подписать договор с издательством «Советский писатель» на книжку стихов, из которых половину перевел Вовка, делавший это с бесперебойной лихостью. Допустим, попадался ему такой подстрочник:

Я стою на горе (скале),
Смотрю, как внизу (в долине)
Стройная девушка (пери)
Умывается (ополаскивается) в реке…

Через пять минут перевод уже готов:

Смотрел с крутого берега
Я, весь изнемогая,
Как мылась в струях Терека
Черкешенка нагая.

Автор был в восторге от Вовиных переводов, денег не жалел, угощал щедро, да и сам пил не по-мусульмански много и жадно, время от времени прося Шлионского:

– Вова, прочти!

– Сначала ты! – отлынивал тот.

Горец хмурился, его лицо становилось жестоко-устремленным, как перед набегом на гяуров, и он взрывался ритмичными гортанными звуками, вроде тех, что издает поперхнувшийся человек. Это длилось минут пятнадцать. Все слушали, удерживая на лице тоскливый восторг, как на концерте в консерватории.

– Теперь ты, Вова!

– Это какой стих-то?

– «Тайна сакли».

– Ах, тайна… – Шлионский задумался, вспоминая наструганные переводы, и завыл:

Я сбросил бурку и кинжал,
А ты сняла мониста.
Я к газырям тебя прижал…

– …Я к газырям… прижал… прижал… – Он спьяну забыл строчку.

– Под песню гармониста… – подсказал я.

– Хороший рифма! – зацокал горец.

– Гога, ты гений! – вскричала дама в красном, перевешиваясь с Шовхала на меня.

Все засмеялись и выпили.

Лишь к вечеру мне удалось вырваться из приторной трясины восточного застолья. Весь, как в тине, в цветистых тостах, клятвах вечной дружбы и взаимных славословиях, я нетвердо улизнул из ресторана, обещав горцу – стать его личным переводчиком. Отдавая мне куртку, немногословный Данетыч покачал лысой головой, молча осуждая мою нетрезвость. Он считал, что для комсомольского вожака я пью слишком много.

– Газету принесли? – деловито спросил я.

– Вон, – ветеран с раздражением кивнул на своего напарника, как раз продававшего экземпляр «Стописа» лоху, пришедшему на авторский вечер поэта-песенника Продольного.

Напарник сетовал, что у него, как обычно, нет сдачи с десяти копеек. Покупатель махнул рукой – не мелочиться же в таком уважаемом месте. Звали второго гардеробщика Виталий Прохорович, он намекал, что свою допенсионную часть жизни отдал театру, но в каком именно качестве – не уточнял. Благородными сединами и сухощавой статью Виталий Прохорович удивительно напоминал знаменитого певца Ивана Козловского. По Москве даже пошел слух, будто великий тенор потерял от пьянства голос, бедствует и теперь подрабатывает гардеробщиком в Доме литераторов. Пересуды достигли самого Ивана Семеновича, он приходил специально поглазеть на двойника и сделал такой вывод: «Похож, похож, но рожа плутоватая!» С тех пор Виталия Прохоровича прозвали «Козловским».

Стрелки на городских часах у «Баррикадной» показывали без пяти десять. Я наменял в автомате пятаков, поднес монету к щели турникета и вдруг ощутил в сердце повелевающий толчок: нужно немедленно и строго спросить Лету, почему она вчера не пришла на свидание? В чем причина? Спросить и внимательно посмотреть в ее незабудковые глаза. Выскочив на улицу, я увидел у революционного барельефа тетку с подмосковными астрами цвета пересиненного белья, купил самый пышный букетик и помчался со всех ног к Театру имени М. В висках стучало: «Пиг-ма-ли-он! Если не я, то он!» Хорошая постановка, мы с Ниной ее видели лет пять назад, еще без Леты. А на позапрошлой неделе Гаврилова выписала контрамарку, чтобы покрасоваться передо мной в новом качестве. Раньше она играла в бессловесной массовке на стоянке лондонского такси, но после яркого дебюта в кино худрук ее заметил, воспылал и дал роль горничной с тремя фразами. А вот Вика Неверова, лучшая подруга (они в «Щуке» у одного мастера учились), так и осталась ловить мотор под дождем. Театр – жестокое поприще.

Когда я добежал, спектакль как раз закончился и разбредались последние зрители. У служебного входа, в переулке, толпились поклонники, ожидая явления кумиров. Возле зеленой «Волги» стоял с охапкой белых роз носатый нацмен в джинсах, клетчатом пиджаке и шелковом шейном платке. Я отметил, что номера на его автомобиле не государственные, а личные, причем блатные, заканчивающиеся на два нуля. Собственная «Волга», даже зеленая, в те годы была редкостью – то же самое, что сегодня «Бентли». Из театра вышла пожилая народная актриса, насколько я помнил, игравшая миссис Хиггинс, и, ревниво глянув на чужих поклон-

ников, поковыляла к метро. Следом явился ее сценический сын – в темных очках для неузнаваемости. Возле красных «Жигулей» его нервно караулила дама с обиженным лицом, скорее всего, супруга. Актер был сед и старше своего героя раза в два, но стая студенток метнулась к нему за автографами. Однако жена успела затолкать заслуженного мужа в машину от греха подальше, и он, увозимый, через заднее стекло с тоской оглядывался на утраченную свежесть.

Наконец появились Лета и Вика. Увидев плешивого плейбоя со снопом цветов, обе завизжали от радости.

– Додик! Откуда?

– Из Амстердама!

– О!

Поделив розы поровну между подругами, носатый распахнул дверцы «Волги». Вика нырнула в машину сразу, а Лета, словно что-то почуяв, перед тем как сесть, оглянулась и увидела меня с жалкими астрами. На ее лице мелькнули сначала недоумение и растерянность, а затем веселое сострадание. Она мне кивнула, приложила пальчик к губам, а потом тем же пальчиком нарисовала в воздухе вращающийся диск телефона, мол, звони! Кнопочные аппараты тогда едва появились и не вошли в обычай. Я отвернулся и гордо зашагал прочь, даже хотел швырнуть букет в урну, но передумал.

Через десять минут я снова был в Доме литераторов. Огорченный Данетыч даже отказался принимать у меня куртку, ее взял Козловский, сообщив между делом, что газета плохо продается, все говорят: скучная. Я промолчал: редактора веселых газет плохо заканчивают. Компания еще гуляла, пили из рога, оправленного в серебро. Шлионский охмурял юную поэтессу Катю Горбовскую, отбившуюся от соседнего застолья. Шовхал, шатаясь, мертвым голосом произносил бесконечный тост, а дама в красном спала на сдвинутых стульях, положив под голову мерлушковую папаху. Перебреев под лестницей безмолвно бил злого критика Златоустского, а тот лишь утробно охал.

– Будь мужчина! – еле ворочая языком, вымолвил горец и сунул мне рог с коньяком.

…Когда Нина, наконец, открыла дверь, я стоял на одном колене и протягивал ей потрепанные астры, которые у меня пыталась отнять, проснувшись, дама в красном, но выручил Шовхал, он обещал осыпать ее лепестками роз, если они тут же отправятся к нему на Кавказ или в Переделкино.

– Ты где был? – спросила жена, брезгливо принимая цветы.

– Мы… обсуждали новую книгу Шлионского.

– Как называется?

– «Послевоенное танго».

– Правильно. А зачем тебя в горком вызывали?

– Потом расскажу…

– После программы «Время» показывали «Музыку судьбы». Дрянь, а ваша Гаврилова играть вообще не умеет.

– Почему наша? – спросил я голосом усталого проктолога.

– Ну не моя же. Дай поспать! Завтра поговорим.

11. Сердце зовет!

Что ты жадно глядишь на девчонку,
Особливо на спелую грудь?
Ты женат. Облизнись ей вдогонку
И за хлебом зайти не забудь!

А.

С Летой я познакомился за месяц до описываемых событий. Дело было так. Первый секретарь Краснопресненского РК ВЛКСМ Павлик Уткин доложил на бюро, что финансовая дисциплина в районе ни к черту, но особенно распоясались творческие организации, кроме, разумеется, писателей. В итоге мне поручили проверить взносы в театре имени М., а в секторе учета показали итоги сверки и дали домашний телефон комсорга Виолетты Гавриловой.

– Та самая? – уточнил я.

– Она. Может по телефону ответить не своим голосом. Актриса! – предупредила завсектором Аня Котова, милая, но вечно усталая девица с глазом, подпорченным бельмом.

– Разберемся.

– Смотри не влюбись, пока разбираться будешь! – с тоской предупредила она.

Аня знала, что говорила. Лета была молодой звездой, открытием десятилетия, надеждой советского кинематографа. Она снялась в фильме «Музыка судьбы», где сыграла Линду – дочь певицы Зои Ивиной, не понятой публикой, дочерью и мужем – тот просто сбежал от нее к другой женщине, которая не поет. Сначала в роли Зои хотели снять Лолу Взбржевскую, чья путаная семейно-эстрадная судьба и легла в основу сценария, но она вдруг подала документы на выезд в Израиль. В СССР такой поступок расценивался как бытовая измена Родине. Тогда роль предложили другой певице – Агате Чебатару, но она совсем не умела двигаться в кадре. После долгих поисков нашли соломоново решение: Ивину сыграла актриса Вера Шпартко, получившая премию Ленинского комсомола за образ молодой партизанки в фильме «Огненный брод». А пела вместо нее за кадром голосистая Агата. Так вот, по сюжету, всеми осмеянная Зоя, погоревав об утраченном муже, утешилась с композитором Эдуардом Прицепиным, который давно втайне любил ее, и не только за вокальные данные. С его помощью она подготовила новую смелую концертную программу, грянул успех, и все сразу оценили Ивину – публика, дочь, даже бывший муж. Он пытался вернуться к жене, но место в ее душе и постели было прочно занято Эдуардом. И Зоя голосом Агаты наотрез отказала ему:

Поздно, друг мой, поздно,
Опустели гнезда,
Облетели ветлы,
Подло, друг мой, подло…

Потрясенная талантом матери, запела вдруг и Линда, стеснительная отроковица, страдающая из-за своего слишком длинного паяльника. Но у Эдуарда нашелся друг-кудесник, пластический хирург из Института красоты, откуда девушка вышла с новым, подходящим носом. На заключительных титрах фильма Зоя и Линда (Чебатару и Сенчина) поют дуэтом:

Услышать музыку судьбы-ы-ы-ы,
Увидеть то, что впереди-и-и-и,
Это и есть сча-а-астье-е-е-е-е…

Куплет подхватили, и Лета проснулась знаменитой.

Удивительное дело, я дозвонился до нее с первого раза. Она сама сняла трубку, долго не могла понять, что от нее хотят, наконец сообразила:

– Ах, взносы… ведомости… Приходите – покажу.

– Когда?

– Послезавтра… Я играю в «Королеве»… Видели?

– Нет.

– Контрамарку возьмете у администратора. Как ваша фамилия?

– Полуяков.

– Смешная. В антракте встретимся в «малрепе».

– Где?

– В малом репетиционном зале.

Спектакль оказался дурацкий, про любовные интриги испанского двора. В антракте через неприметную боковую дверь, указанную билетершей, я попал за кулисы. По коридору, гремя шпагами, метались усачи в камзолах и проплывали дамы в кринолинах. Пробежал лохматый пузан, он кричал: «Старая маразматичка!» – и на ходу капал в рюмку валокордин, как я понял, для королевы-матери, забывшей в первом явлении текст.

– Простите, где малый репетиционный зал? – спросил я епископа в тиаре, читавшего «Советский спорт».

– До конца, вниз, направо, – ответил он раскатистым актерским басом.

Я, конечно, заблудился и забрел к служебному входу. Там рядом с турникетом на специальной доске висел приказ: актеру Сивцеву Д. Д. за явку на репетицию в нетрезвом виде объявляется строгий выговор с предупреждением. Вахтер сурово спросил, что я ищу, и отправил меня в обратную сторону. «Малреп» оказался большой комнатой с зеркальной стеной и длинным столом посредине. Не успел я оглядеться, как вошла, шурша пышными юбками, Гаврилова. На ней был рыжий парик, щеки нарумянены, глаза подведены в пол-лица, а грудь вздыблена корсетом.

– Давно ждете? – спросила она низким голосом.

– Нет… – ответил я, испытывая странное стеснение в сердце.

Рукой, полной фальшивых перстней и браслетов, она подала мне ведомости. Я сел, начал листать и понял: тут надолго.

– Знаете, Виолетта…

– Просто – Лета.

– Вы торопитесь?

– Нет, я уже выпила яд.

– Ах, ну да… – кивнул я, вспомнив, что соперница по ходу пьесы подсунула ей кубок с отравленным вином.

– Может, вы хотите досмотреть спектакль?

– Не очень.

– Глупая пьеса. Хуже только про сталеваров.

– Да уж…

– Вы изучайте, а я пока переоденусь.

Она повернулась, увлекая за собой тряпичный колокол платья, и вышла, пахнув на меня молодой женской тайной. Шлейф едва успел выскользнуть в захлопывающуюся дверь. Любовь актрисы, подумал я, наверное, отличается от любви обычной женщины, как пряный коктейль в кафе «Метелица» от портвейна «Агдам» в подворотне. И мечтательно вздохнул.

Углубившись в бумаги, я обнаружил все мыслимые и немыслимые нарушения финансовой дисциплины. Количество комсомольцев в ведомостях не совпадало с данными сектора

учета, подписи неумело подделаны пастой двух цветов – черной и фиолетовой. Актеры платили взносы с одинаковой ничтожной суммы, как солдаты срочной службы, получающие мизерное денежное довольствие. М-да, господа артисты, вы, ребята, заигрались…

Вскоре вернулась Лета в черном обтягивающем свитере-водолазке: оказалось, корсет тут ни при чем, грудь у нее была выдающаяся сама по себе. Тугие «вареные» джинсы актриса по-мушкетерски заправила в сапоги с пряжками. Русые волосы она собрала в конский хвост, стянутый резинкой в виде зеленой гусеницы. Без грима лицо Гавриловой сделалось нежно-доверчивым, а голубые глаза смотрели устало. Мое сердце снова споткнулось о какое-то мягкое и сладкое препятствие в груди.

– Ну что там у нас?

– Кошмар! – бодро, чтобы не пугать девушку, сообщил я.

– А именно?

– Во-первых, почему все платят взносы с одинаковой и очень маленькой суммы?

– Зарплата у нас такая – с гулькин… сами понимаете…

– Но ведь они снимаются в кино, выступают, подрабатывают…

– Так это же «халтура», а не работа.

– В уставе написано: взносы платят со всех видов дохода.

– Вы бухгалтер?

– Нет, я писатель.

– Странно.

– Во-вторых, почему все подписи подделаны?

– Как это – подделаны?

– Вот, пожалуйста!

Она достала из сумки простенькие учительские очки, надела, посмотрела в ведомости, сняла и спрятала:

– Вот сука!

– Кто?

– Не важно.

– А теперь скажите, сколько у вас комсомольцев?

– Не помню. Я на съемках была. Может, новых взяли. А что случилось?

– У вас по сверке одно количество, а по ведомостям на пять человек меньше.

– И что теперь?

– Думаю, вас вызовут на бюро. Очень много нарушений.

– Вот тварь!

– Кто?

– Малюшкина.

– Та, которая яд вам подсыпала?

– Она, сволочь! Заместительница. Клялась: все будет тип-топ. Обещала ведомости в порядок привести. Привела! И что теперь?

– Думаю, выговор.

– Плохо.

– Уж чего хорошего!

– Хуже, чем вы думаете. Меня за «Музыку судьбы» обещали на премию Ленинского комсомола двинуть. Ну, теперь Здоба на мне оттопчется!

– Кто?

– Худрук.

– Хреново.

– Выпить бы, но все уже закрыто. Разве в Дом кино подскочить? Вы на машине?

– Нет, в ремонте, – соврал я. – До ЦДЛ пять минут пешком.

– Там жуткий администратор. Коротышка. Никого не пускает.

– Семен Аркадьевич? Пу-устит.

– Ну, да, ты же писатель! – Она с интересом посмотрела на меня. – Пошли, что ли! Тебя как зовут-то?

– Егор, можно – Жора…

– Ясно: он же Гоша, он же Гога, он же Гера… Хорошее у тебя имя!

У выхода жадно курила одна из бессловесных монашек в головном уборе, похожем на взлетающую белую голубку. Увидев нас, актриса нахмурилась:

– Ты же сказала, подождешь меня!

– Вик, прости, тут ко мне из райкома пришли. – Лета смущенно кивнула на меня.

– Ах, из райкома! – Монашка с интересом подняла на меня крупные карие глаза. – Тогда другое дело!

– Полуяков, – представился я.

– Полу… что?

– Фамилия у него такая, – объяснила Лета. – Зовут – Егор.

– Виктория Неверова! – Христова невеста глубоко поклонилась, скрывая ухмылку.

– Додик не звонил? – спросила Гаврилова.

– Нет.

– Ну, пока, до завтра, Викусь. – Подруги поцеловались щеками, чтобы не испачкать друг друга в помаде.

– Может, с собой ее возьмем? – тихо предложил я.

– Вику-то?

– Ну, да…

– Понравилась?

– Нет, за компанию…

– Хорошо бы… Она с женихом поссорилась. Но ей еще королеву хоронить.

Накануне я получил гонорар за внутреннее рецензирование и мог смело пригласить двух дам в ресторан. Вообще, писатели в этом смысле принадлежали при Советской власти к редкой категории трудящихся и жили не от зарплаты до зарплаты, как большинство, а имели массу дополнительных приработков. Я уверенно провел Лету мимо благосклонно улыбнувшегося Бородинского и повлек в Дубовый зал, где, к счастью, как раз освободился столик: Стас Гагаров уснул, пав челом на скатерть, и его, стараясь не будить, унесли из помещения на воздух.

– Что будет дама? – не без уважения спросил Алик.

– Водку, – вздохнула она.

– К водочке надо бы икорки, черной?

Я лениво кивнул, посмотрев на халдея с ненавистью.

– И сигареты бы… – попросила Лета.

– Какие изволите?

– «Стюардессу»…

– Специально для вас приберег последнюю пачку.

Лета пила, по-пролетарски закидывая голову, мне оставалось лишь намазывать ей бутерброды икрой, похожей цветом на свежий асфальт. Быстро захмелев, звезда курила, не переставая, и рассказывала о своей трудной актерской жизни. Получив после фильма роль горничной с тремя репликами, она нажила множество врагов в труппе. А Здоба как с ума сошел, пристает к ней чуть ли не на глазах у жены, работающей бухгалтером в театре. Обещает: как только супруга с очередным обострением ляжет к Ганнушкину, ввести Лету на роль Гвендолен, а ей хочется настоящей любви. Один раз с ней такое уже случалось, она собиралась замуж за однокурсника, жутко талантливого парня, но его взял в свой спектакль режиссер Винтюк, и жених пропал: девушки его перестали интересовать. От волнения Лета повысила голос, и без того по-

актерски сильный. Ресторанная публика стала оборачиваться и сразу узнала Гаврилову. Сердце мое набухло глупой гордостью.

– Лета, никак не пойму, – я постарался увести разговор от жениха, вставшего в ряды «аликов», – как тебе такой длинный нос сделали?

– Нос? А-а-а, ты про Линду! Знаешь, сколько мне его гример лепил? Перед каждой съемкой три часа пыхтел. Я к семи утра приезжала. Потом раз говорю: «А давайте я в гриме домой пойду, чтобы заново не делать. Бабки у подъезда чуть челюсти не проглотили, когда меня увидели! Короче, Жор, специально спать на спину легла, вся подушками обложилась, чтобы не ворочаться ночью, просыпаюсь, а нос на полу валяется. Прикинь?

Мы просидели до закрытия ресторана. Пока Лета пудрила в дамской комнате свой настоящий носик, я позвонил домой из фойе и объяснил Нине: сломалась ротационная машина, поэтому тираж задерживается, и я вместе с ним. Врать было легко и приятно: мы по понедельникам действительно печатали «Стопис», и старый ротатор, вывезенный по репарации в 1946 году из Германии, ломался не в первый раз. Одно пришлось утаить: сегодня газету в свет подписывал Макетсон.

– А что там за крики? – заподозрила жена.

– Печатники на мастера орут.

– А-а… Приезжай поскорее и не пей. Я в желтом пеньюаре.

На самом деле у гардероба разыгралась литературная драма: песенник Продольный спросил у заведующего отделом поэзии «Огонька» Андрюшкина, когда, наконец, тот напечатает его гениальные стихи. «Никогда!» – был ответ, после чего оскорбленный Продольный зубами вырвал клок из вражьего замшевого пиджака.

– Круто тут у вас! – удивилась Лета, появившись из дамской комнаты.

– Идейно-эстетическая борьба!

Я поймал такси и, не торгуясь с водителем, повез актрису домой, в Фили. На резком повороте центростремительная сила бросила нас друг к другу. Нет, Лета не оттолкнула меня, а ласково вывернувшись из моих объятий, прошептала:

– Торопишься, Гоша!

Прощались у подъезда под бдительным оком таксиста, боявшегося, что мы смоемся, не заплатив. Гаврилова жила в обычной хрущевской «панельке», мне же казалось, звезда должна обитать по меньшей мере в доме из бежевого кирпича, а еще лучше – в старом особняке с кариатидами.

– Неужели ничего нельзя сделать с ведомостями? – спросила она.

– Я подумаю и позвоню.

– Спасибо. Жор, я бы тебя пригласила…

– Мама? – сочувственно улыбнулся я.

– Родители за бугром. Бабушка.

– Жаль.

– Не торопись! Все будет, даже больше, чем ты хочешь. Потом… Слушай, Жор, дай мне твой телефон, на всякий случай…

Я нацарапал рабочий номер на пачке «Стюардессы».

– Домашний? – спросила она.

– Служебный.

– А дома у тебя разве нет телефона?

– Есть.

– Пиши! Не бойся, по пустякам звонить не буду.

– Я и не боюсь, но лучше на работу звонить.

– Ты еще скажи, что не женат.

– Одинок, – почти не соврал я.

– И я очень одинока, – шепнула Лета. – Ты мне поможешь? Я же в этих чертовых бумажках и ведомостях ни хрена не понимаю.

– Помогу.

– Спасибо. – Она поцеловала меня так, что я потом долго не мог отдышаться.

Когда таксист по пустой полночной Москве домчался до Орехова-Борисова, Нина уже спала. В желтом пеньюаре…

На следующий день я полетел в райком и честно рассказал обо всем Ане Котовой, она внимательно посмотрела мне в глаза, все поняла, горько усмехнулась и деловито объявила цену:

– Два торта и три бутылки шампанского. Нет, четыре – надо бухгалтерию позвать.

За это скромное подношение райкомовские девчонки скоренько исправили все косяки комсомольской организации театра имени М., а начальству мы доложили, что у них все в ажуре, можно поддержать выдвижение Гавриловой на премию. Я позвонил Лете и утешил: опасность миновала, но документацию все равно надо налаживать.

– Жора! – задохнулась Гаврилова. – Я тебя хочу… видеть!

– Я тоже!

Спустя неделю жена по обыкновению искала у меня в карманах деньги, чтобы отправиться в магазин, и обнаружила надорванную контрамарку.

– Ну и как спектакль? – с равнодушием, не обещавшим ничего хорошего, спросила она.

– Фигня.

– Мог бы и меня на эту фигню сводить. Мама с Аленой бы посидела.

– Я ходил к ним взносы проверять.

– Неужели?

– Да! Ты не представляешь, как у нее все запущено!

– У кого?

– У Гавриловой.

– Той самой?

– Той самой.

– Значит, она и взносы собирать тоже не умеет… – усмехнулась Нина.

– По-моему, ты к ней несправедлива. Она талантлива.

– Тебе видней. Но если не можешь заработать, – проскрипела жена, презрительно пересчитывая на ладони серебро, – сдай бутылки. На балкон уже выйти невозможно!

– Сдам, – тоскуя, пообещал я.

12. Дом без дверей

Проспаться, побриться, одеться
И жить – без надежд и без чувств.
Семья, мой любимый Освенцим,
Я скоро к тебе ворочусь!

А.

Утром меня растолкала Нина:

– Вставай, алкоголик!

– Почему сразу алкоголик?

– В зеркало на себя давно смотрел?

После пробуждения в теле остался какой-то суетливый испуг. Во сне я искал выход из жуткого запутанного дома, куда пришел на свидание с Летой, а ее там не оказалось. Потом входная дверь исчезла, словно не было, и я метался по душным темным комнатам, скрипя зубами.

– Вечером ребенка забираешь ты! – Жена, опаздывая на работу, суетливо прихорашивалась и нервно одевала Алену, чтобы отвести в сад.

– А ты?

– Я вчера забирала. У меня тоже есть личная жизнь. Понял?

– О да!

– Тебе что – ночью кошмары снились?

– Ты-то откуда знаешь?

– Не первый год с тобой, между прочим, сплю.

– И что?

– Ты ворочался, потел и повторял, как попугай: куда я попал, куда я попал! Зачем тебя в горком-то вызывали?

– Поручение дали.

– А квартиру когда дадут? Не надоело жить на выселках?

– Люди вообще в коммуналках живут. Жека не звонил?

– Еще не набегались? – усмехнулась Нина, постоянно и почти без оснований подозревавшая меня в брачном отщепенстве.

– Киса, ну что ты такое говоришь?!

– Что знаю, то и говорю. За цветы спасибо. Не ожидала. Но астры чаще на могилку кладут.

– Других не было.

– Повторяю для забывчивых: Алену из сада забираешь ты! Только попробуй сегодня выпить! Не опаздывай! Воспитательницы на меня и так волчицами смотрят. Им тоже домой надо.

– Не подведу, бригаденфюрер!

– Ну, я пошла…

Последние слова были сказаны с той особенной интонацией, которая у строгих жен содержит едва уловимый намек на то, что пропащий муж при выполнении определенных условий может все-таки надеяться на понимание и даже невозможное – супружескую взаимность.

– Уходя – уходи!

Я повернулся на другой бок, собираясь доспать, а заодно и найти во сне Лету, но тут из прихожей раздался крик Нины и хныканье дочери.

– Где он? Куда ты его спрятала?

– Он ушел.

– Не ври, мерзавка!

Я поднялся из постели, как из могилы, и побрел в прихожую. Выяснилось, вчера дочь принесла из детсада чужого Крокодила Гену, и его надо вернуть, а он исчез. Пришлось помогать в поисках. Мы перерыли полквартиры, пока не догадались заглянуть в чехол от пылесоса.

– Ты понимаешь, что чужое брать нельзя? – строго глядя в чистые детские глаза, спросил я, пользуясь воспитательной оказией.

– А она унесла мое зеркало!

– Кто?

– Ленка Филиппова.

– Какое зеркало?

– С красками.

– С какими красками?

– Коробочку с зеркальцем и красками…

– Что?! Моя «Пуппа!» – побледнела Нина и метнулась к трюмо.

Там в выдвижном ящике хранился ее красильный инвентарь, в том числе черная лаковая шкатулка с косметическими чудесами итальянской фирмы «Пуппа». За ней жена в ЦУМе простояла полдня.

– Куда ты ее дела, маленькая сволочь?

– Ленка Филиппова взяла домой маме показать, а мне пока дала Крокодила Гену.

– Врешь! Ты с ней поменялась!

– Не вру.

– А зачем тогда Гену спрятала?

– Я не прятала. Он сам туда залез, – сварливо объяснила Алена, и на ее лице появилось выражение партизанки, взятой при минировании моста.

– Если с моей «Пуппой» хоть что-нибудь… хоть что-нибудь… я тебя…

– Она только маме хотела показать.

– Показать? Вот тебе «показать»! Вот тебе «показать»!

– А-а-а…

…Наконец лифт унес вниз плач ребенка и гневный клекот жены. Я снова лег, чтобы еще понежиться и скопить мужества для неизбежного трудового дня. Хорошо все-таки быть творческой интеллигенцией и не мчаться к 8.00 на завод или в поля. В дремотном сознании, как тени птиц, плавали мысли о Ковригине, о Лете, как-то странно смотревшей на меня вчера возле театра. А что я, собственно, разобиделся? После памятного ужина мы встречались трижды – один раз гуляли днем, между репетициями, по Тверскому бульвару, потом, тоже днем, ходили в кафе-мороженое на улице Горького, а еще я провожал ее после спектакля домой, сорвав несколько усталых поцелуев и повторное обещание чего-то большего. Внезапно я вспомнил, что когда-нибудь обязательно умру, окончательно расстроился и пошел умываться.

…Дожевывая бутерброд, я выглянул в окно: внизу уже стоял редакционный «Москвич». Сверху крыши автомобилей кажутся широкими, как двуспальная кровать. Я допил чай, оделся, повязал галстук, с неприязнью посмотрел на себя в зеркало, взял портфель и пошел к двери, но тут зазвонил телефон.

– Жор, ты совсем обалдел? – печально спросила Арина, технический секретарь парткома. – Тебя Владимир Иванович ищет.

– Зачем?

– Приезжай – узнаешь.

– А чего такой голос грустный?

– Приедешь – расскажу.

Я бегом спустился вниз, но Гарика на месте не оказалось, а часы уже показывали двадцать минут десятого. Из Орехова-Борисова с учетом пробок до площади Восстания ехать минут сорок, а то и час. Куда же делся этот нагорный плейбой?

Вообще-то наш шофер не обязан возить меня на работу и домой, машина ведь не персональная, а редакционная, точнее, разгонная. Но Гарик сам предложил по возможности забирать меня из Орехова-Борисова и доставлять обратно, если я буду давать ему ежедневно часдва, чтобы подкалымить. Так и договорились.

Ну где же этот гад?

Чтобы успокоиться, я решил пройтись вдоль дома, заодно взглянуть на мемориальный кабачок. В окне дежурил муж Клары Васильевны. Отбдев ночную смену, она сдала пост своему супругу Захару Ивановичу – могучему волосатому ветерану в якорных наколках. Он сидел в окне, как в портретной раме, и пил утреннее пиво из бутылки.

– Растет? – спросил я, поздоровавшись.

– А куда он денется, зараза!

– Разве кабачки в таком возрасте съедобны? – усомнился я, разглядывая желтую торпеду в траве.

– Кабачки – не бабы, – философски отозвался бывший моряк.

– Водителя моего не видели?

– Армяшку? Видел. Рассказывал, какие у них в Карабахе кабачки, а потом в «Белград» рванул.

«Мерзавец!» – Искать его на четырех этажах универмага, забитого покупателями, было бессмысленно.

Мой водитель Гарик Саркисян, 25-летний карабахский армянин, обладал редкой кинематографической внешностью: что-то среднее между Шарлем Азнавуром и Аленом Делоном. Вдобавок он был на редкость хорошо сложен: высокий, широкоплечий и талия узкая, как у Давида Сасунского. Говорю это не из интереса к мужским красотам, а чтобы стала понятна дальнейшая судьба шофера. Гарик окончил на родине восьмилетку, по-русски изъяснялся вполне прилично, для колорита иногда вставляя родные слова, однако писал со смешными ошибками. Еще он был фантастически невезуч: все гвозди, выбоины и колдобины на дороге доставались ему, именно перед ним на переезде закрывался шлагбаум, ломался светофор или же гаишник, включив красный, надолго отлучался из «стакана» по нужде.

Я посмотрел на часы и стал придумывать страшное наказание для разгильдяя, но тут как раз увидел Гарика. Он бежал к машине, неся под мышкой покупку в слюдяной упаковке.

– Гарик Ашотович, в чем дело?

– Извини, Егор-джан, батники давали…

– Чтобы в последний раз!

– Очень надо, им арев. Прости!

Я сел на заднее сиденье. Он за руль. Чтобы выбраться из двора на трассу, надо было обогнуть зеленый куб магазина «Белград», из которого высовывался на улицу стометровый хвост.

– Видишь! Хорошие рубашки, клянусь солнцем матери! Знаешь, сколько там народу! Всем точно не хватит.

Сам я никогда не тратил время и нервы в очередях, если только за книгами и пивом. Но Нина, как загипнотизированная, пристраивалась к любому хвосту, зная по опыту: люди зря стоять не будут. Она часто возвращалась домой с дефицитом, хотя случались и расстройства. Особенно обидно, если, скажем, бананы заканчивались перед носом и продавщица, торжествуя, ставила конторские счеты на ребро, а потом уходила в подсобку пить чай.

– Как же ты ухватил? – удивился я. – Там давиловка небось на целый день!

– Земляка нашел. Попросил – он и мне взял. По два в руки давали. Ему синий, мне красный. Хороший парень. Из Спитака.

– А много в Москве армян?

– Русских больше, ке матах, – ответил с грустью Гарик.

Чтобы вырваться на простор широкого Каширского шоссе, нам предстояло протолкаться по узкой Домодедовской улице, утыканной светофорами, как бахча пугалами. Люди шли на зеленый свет, с опаской косясь на нетерпеливо рычащие капоты, и горе тому, кого желтый застигал на середине мостовой! В ту пору водители пешеходов еще не уважали.

– Знаешь, что она придумала? – хихикнул шофер.

– Что?

– Не поверишь! Нарисовала на нем помадой глаза, рот и усы. И стала разговаривать. С ним. Клянусь! Понял?

«А девушка-то образованная. «Сто лет одиночества» читала», – подумал я, вспомнив забавы изобретательной Урсулы с могучим органом Аурелино, что, кстати, ввергло тогда в шок всю читающую часть населения СССР. И не потому, что никто такого не вытворял в индивидуальной постельной практике. Вытворял и даже не такое. Но прочесть об этом в книге?! Да уж, Маркес это вам не Марков!

– Значит, у вас серьезно?

– Очень! – вздохнул Гарик. – Понимаешь, такой женщины у меня еще не было!

– А ты говорил, у тебя невеста в Степанакерте?

– Сам переживаю, Егор-джан. Но у меня есть младший брат. Выручит. Знаешь, как она его называет?

– Кого?

– Ну, его…

– Брата?

– Нет.

– Как?

– Волшебная палочка, клянусь солнцем отца!

13. Волшебная курьерша

Плоть, казалось, навсегда устала,
Но покой был явно не про нас.
«Ты волшебник!» – скромница шептала
И опять за палочку бралась…

А.

Чтобы стало понятно, откуда в жизни моего простодушного водителя появилась девушка, читающая Маркеса, придется кое-что объяснить. Наш «Стопис» печатался в типографии «Литературной газеты», что на Цветном бульваре, напротив Старого цирка. Вроде бы многотиражка, две тысячи экземпляров, но процесс выпуска почти не отличался от «взрослых» газет с миллионными тиражами. В понедельник вечером редактор или ответственный секретарь подписывали номер «в печать», конечно, предварительно получив штамп Главлита, и тогда набор отправляли под пресс, потом в металле отливали круглые формы и закрепляли их на ротационной машине, вывезенной, как уже было сказано, из поверженного Берлина. Печатники приправляли формы, подвинчивая, подтесывая металл, потом на мгновение запускали ротатор и показывали пробные полосы. Я обычно подписывал почти не глядя. Зато наш ответственный секретарь по прозвищу «Макетсон», высокий, породистый еврей с седыми бакенбардами тайного советника, рассматривал оттиск со всех сторон, сопел, хмурился, придирался к каждой марашке, требовал устранить. Печатники, скрипя зубами, снова перетягивали винты, скоблили, чистили, наконец Макетсон снисходил и великодушно чиркал над логотипом красным фломастером: «В свет!» И ротационная машина мгновенно выдавала наши две тысячи копий. Тираж упаковывали в четыре пачки, две тут же отдавали в экспедицию для рассылки подписчикам. По звонку из дежурки прибегал Гарик, брал оставшиеся пачки, выносил из типографии и грузил в багажник «Москвича». Во вторник водитель делал развозку: доставлял свежие экземпляры в райком, горком, отдел печати ЦК, Минкульт, Ленинскую библиотеку, Книжную палату и т. д. Оставшиеся экземпляры мы отдавали в гардероб ЦДЛ для розничной продажи по две копейки за экземпляр, чем с удовольствием занимался Козловский, его интерес состоял в том, что двухкопеечные монеты были на вес золота (их использовали в телефонах-автоматах), а сдачи у хитрого деда никогда не водилось. Маленький – но бизнес.

И вот месяца два назад Макетсон, подписав газету «в свет», позвонил в дежурку, но Гарика там не оказалось, его нашли в ночном буфете для типографских работников, трудившихся круглосуточно. Шофер, млея, пил бесплатное молоко в компании новенькой курьерши Маргариты – светловолосой худосочной девицы с совершенно шалыми глазами. Все ее звали «Марго». Тогда-то у них и началось.

…Миновав тесную Домодедовскую улицу, мы вырвались на просторы Каширского шоссе.

– Как ее фамилия? – спросил я.

– Не знаю.

– А что еще она умеет?

– Все! – доложил шофер с уважением.

– Где вы встречаетесь? – заинтересовался я.

– Вай ара! – Гарик увернулся от грузовика. – У нее встречаемся.

– А родители?

– На даче живут.

– Повезло. Долго сопротивлялась?

– Долго, клянусь солнцем отца, у нее женские дни были.

Оставив слева метро «Каширская», мы ушли на Пролетарский проспект, который через год станет проспектом Андропова. Справа виднелась чудом уцелевшая деревенская улица: из печных труб шел дым. Мужик в треухе нагибал колодезный журавль. На завалинке тесно, как зимние воробьи, сидели старушки и провожали взглядами поток легковушек, грузовиков, автобусов, троллейбусов. Девушками они видели тут лишь телеги или, изредка, буксующую в мокрой грунтовке полуторку с деревянной кабиной. За хижинами поднимались бело-синие многоэтажки, похожие на огромные молочные пакеты, поставленные в ряд.

– Слушай, Егор-джан, отпусти сегодня пораньше!

– А что такое?

– Она сказала, поговорить хочет. Серьезно.

– А вы разве с ней не разговариваете?

– Некогда нам…

Мы толкались в сплошной пробке, приближаясь к Каменщикам.

– Если опоздаем в партком, я тебе уволю – и можешь делать что хочешь!

Лукавый армянин хмыкнул: «Москвич» и сам водитель принадлежали автохозяйству ЛГ, а к «Стопису» были лишь прикомандированы, не я брал шофера на работу – не мне увольнять. Тем не менее Гарик задачу понял и пристроился за машиной, разбрасывавшей песок по мостовой, хотя заморозков никто не ждал. Остальные участники движения держались от нее подальше: с вращающегося круга, как из пращи, летела, кроме песка, крупная галька, которая могла поцарапать краску или повредить стекла, а ведь автомобили в ту пору покупали на всю жизнь, поэтому берегли пуще собственного тела. Но Гарику плевать – «Москвич»-то казенный. Мы поехали быстрее и оказались вблизи опасного агрегата.

– Вы предохраняетесь? – спросил я.

– Обязательно. Знаешь, как она это делает… – Он повернулся ко мне, чтобы объяснить. – Им арев, клянусь, но ты все равно не поверишь…

Однако узнать, как предохраняется худосочная курьерша, я не успел. На проезжую часть, размахивая жезлом, выскочил толстый гаишник: то ли ловил нарушителя, то ли давал коридор спецтранспорту. Пескоструйный агрегат резко остановился.

– Тормози! – заорал я.

– Ложись! – крикнул в ответ Гарик и нырнул под «торпеду».

В салон, разнеся вдребезги лобовое стекло, влетел булыжник величиной с дыню-колхозницу. Ударив в заднее сиденье рядом со мной, он подпрыгнул и скатился на резиновый коврик.

– Живой? – спросил водитель, выглядывая из-за кресла.

– Живой…

– Вай ара! Ну, почему мне так не везет?

– В любви везет… – ответил я, с ужасом соображая, что стало бы со мной, пролети каменюка чуть правее.

– Поеду на базу чиниться. Егор-джан, подтвердишь, что я не виноват? А то из зарплаты вычтут.

– Хорошо. Давай! Туда-назад…

– Ну, ты сказал! А если лобового стекла на складе нет? – улыбнулся он кукурузными зубами. – Дефицит.

Конечно, никакого стекла на складе нет. Там вообще ничего никогда нет. Значит, впереди у него несколько дней безоблачной свободы. Водители сломавшихся машин в ожидании запчастей сидели на базе, смотрели телевизор, забивали козла или брали отгулы.

– Ну, хоть до редакции довези!

– Отсюда до базы ближе, а без стекла ездить нельзя.

– Ла-адно… – мстительно кивнул я.

– Прости, ке матах, очень надо!

Я вылез из машины и побежал на станцию «Таганская»-радиальная, от нее до «Баррикадной» всего четыре остановки без пересадок, а там надо пересечь площадь Восстания, дождавшись зеленой паузы, краткой, как пляжный сезон в Норильске. Пробегая мимо телефонных скворечников, прилепленных к стене подземного перехода, я нащупал в кармане мелочь и решил больше никогда не звонить Лете. Хватит! У меня, в конце концов, есть жена. Все говорят, красивая, в меру умная, а главное – любящая. Что еще надо, чтобы встретить старость? Боже, ну почему, почему женская плоть, принадлежащая тебе согласно штампу в паспорте, так быстро приедается? С какой стати искомое тело, недавно еще полное новых месторождений страсти, желанное до головокружения, довольно скоро превращается в близлежащую очевидность с тяжелым характером? Почему так мучительно хочется новизны? Пржевальский искал и нашел свою лошадь? А я-то что ищу? Зачем? Проклятая пещерная полигамия…

Прислонясь горячим лбом к темному стеклу вагона, я вспомнил, как мы с Ниной после свадьбы по бесплатным студенческим путевкам поехали, несмотря на лютые морозы, в профсоюзный дом отдыха. Топили и кормили там плохо, в окна дуло, от холода стекла покрылись ворсистыми белыми пальмами, мы залезли под одеяло и не выходили из номера, даже в столовую не спускались. Наконец я пресытился, а моя юная супруга вообще впала в безответную летаргию. Пришлось принести ей из столовой макароны по-флотски и компот.

Изможденный медовыми излишествами, я впервые за три дня выполз на улицу и поначалу ослеп от яркого снежного света. Когда же глаза привыкли, выяснилось: на дворе оттепель. С карнизных сосулек струилась капель, синий ноздреватый снег просел и пах почему-то свежими огурцами. В парке среди черных деревьев стояла снежная баба, причем не в переносном, а в прямом смысле слова. Неведомый ваятель тщательно и довольно искусно вылепил женские выпуклости и впадины, придав им мечтательную избыточность, сосцы подкрасил свеклой, а ягодицы расположил с удивительным знанием дела. Более того, мощный пах для достоверности он усеял еловыми иглами. И только вместо головы на стройную шею скульптор нахлобучил обычный снежный ком с морковкой носа и угольками глаз. Изваяние произвело на меня такое мощное впечатление, что я, возбудясь, бросился к Нине. Она как раз доедала макароны и, увидав, как я стремглав раздеваюсь, удивленно спросила:

– Ты чего?

– Сейчас узнаешь!

Неужели все это осталось там, в начале? Материнство вообще отдаляет женщину от мужчины, словно она уже получила от него главное, а все остальное, как говорится, до востребования. К тому же Нина с некоторых пор решила, что ее отзывчивость – это что-то наподобие оценки, которую она ставит мне за поведение, как судьи в фигурном катании. Нарушение семейного устава карается половым карантинам или холодным снисхождением к животным инстинктам законного самца. Кто ее надоумил? Подруги? Не-ет! Скорее всего, теща. Однако Нина, несмотря на мое свинское поведение, иногда сладостно увлекалась, а утром ходила недовольная собой. Я вспомнил ее утреннюю интонацию: «Ну, я пошла…» – и решил быть сегодня таким образцовым, таким правильным, каким был, наверное, один раз в жизни, в третьем классе, когда вступал в пионеры.

Старший вожатый предупредил: красный галстук повяжут только тем, кто в течение месяца, оставшегося до 19 мая, не схватит ни одной «тройки», не получит ни одного замечания по поведению и сдаст десять килограммов макулатуры. Я собрал старые газеты со всего общежития, учил домашние задания, на уроках тянул руку, просясь к доске, и героически отвергал предложения моего соседа по парте Сереги Воропаева сыграть в морской бой. На переменах я не носился с воем по этажу, как все нормальные дети, а ходил медленными кругами, точно козел, привязанный к колышку. И действительно, нас, самых-самых, в количестве десяти человек повезли в музей Калинина, что около Кремля, и там торжественно повязали на шеи гал-

стуки, за которые накануне собрали по рублю девять копеек с носа. Всех остальных, включая троечников, опионерили через неделю, разом, в Доме пионеров на Спартаковской площади. Не приняли только второгодника Коблова, он обозвал Элеонору Павловну «шалашовкой». И хотя никто не мог объяснить толком, что это значит, завуч страшно рассердилась и запретила принимать его в юные ленинцы.

«Осторожно, двери закрываются, Следующая станция – «Улица тысяча девятьсот пятого года…» – предупредил механический голос. Послышалось шипение, я, очнувшись, ринулся в смыкающуюся щель. Мужичок, стоявший у выхода, сноровисто придержал створку, а второй пассажир дружески подтолкнул меня в спину. Я вылетел на платформу с криком: «Спасибо, мужики!» Все-таки наш советский коллективизм – великая вещь!

14. «Бей в барабан и не бойся!»

В парткоме, товарищ, не мучат,
Младенцев без соли не жрут.
С тебя только взносы получат
И в пыль, если надо, сотрут.

А.

Обливаясь потом, я влетел в спальню князя Святополка-Четвертинского. За столом сидела Арина, технический секретарь парткома, и плакала. Она была дочкой крупного издательского работника, окончила Литинститут, писала вроде бы даже стихи и состояла в нашей комсомольской организации. Недавно Арина вышла замуж за мальчика из хорошей семьи: познакомились они на море в Болгарии и влюбились до штампа в паспорте. Увидев ее слезы, я понял: в молодой семье неприятности, но на расспросы времени не оставалось.

– Я сильно опоздал?

Она кивнула на дверь «алькова», сморщилась, и, лязгнув зубами, зарыдала в голос.

– Что случилось?

– Мы разво-одимся-я-я…

– Потом поговорим, – пообещал я и ринулся к начальству.

В «алькове» было так накурено, что сначала я смог различить лишь смутные силуэты.

– Опаздываете, молодой человек! – голосом Шуваева укорил меня один из силуэтов.

– «Он трех коней загнал, но в сро-о-ок донос доста-а-ви-и-л!» – запел второй, вскочив с дивана. – Жоржик, ты как самый молодой давай-ка – открой форточку!

– Сейчас…

В тумане я налетел на угол двухтумбового стола, встал на подоконник и, едва дотянувшись, впустил свежий воздух. Видимо, при царе форточку открывали лакеи. В комнате посвежело, развиднелось, да и глаза привыкли к никотиновому туману. Шуваев и Лялин были оба в темно-серых костюмах, белых рубашках и галстуках: явно ходили куда-то на ковер. Правда, модник Папикян повязал галстук цвета взбесившегося хамелеона, гармонировавший с его крашеными волосами, отливавшими фиолетовыми чернилами, какими я писал в начальной школе.

– Ты готов, мой мальчик? – спросил он.

– Всегда готов. А что нужно делать?

– Сначала подумать! – хмуро молвил третий участник совещания – Бутов – сотрудник КГБ с ранними залысинами и рыжими усами.

– А вот это правильно, Викторович Павлович, – согласился Шуваев.

В отличие от партийцев чекист одет был легкомысленно: клетчатая рубашка-апаш, вельветовые брюки и вязаная кофта на больших пуговицах. Иногда я встречал его на наших писательских собраниях. Обычно Палыч сидел в заднем ряду, слушал ораторов с недоверчивой усмешкой и что-то записывал. Видимо, истощив весь карательный запал в суровые тридцатые годы, сотрудники органов в позднее советское время отличались какой-то вялой бдительностью и иронией. Бутов курировал и нашу комсомольскую организацию. Раз в год, по какому-то своему графику, он звонил мне:

– Георгий, надо бы встретиться.

– Как обычно?

– Да, в нижнем буфете.

Если я припаздывал, то заставал его за чтением испанской газеты: наверное, учился-то Палыч на шпиона, но что-то не заладилось. Мы пили кофе. От коньяка он неохотно отказывался: служба.

– Ну и как тут у вас дела? – грустно, словно заранее предвидя неприятности, спрашивал куратор, кладя перед собой ручку и ежедневник.

– Да ничего вроде бы – скрипим помаленьку.

– ЧП никаких не намечается?

– Как будто бы нет…

– В Израиль никто не намылился?

– Свят-свят!

…Полгода назад мы исключили из комсомола, как положено по уставу, молодую отзывчивую Ирку Фонареву, она писала стихи под псевдонимом Анна Вербина и охотно постельничала со всеми, кто интересовался. Я избежал ее расположения потому, что Шуваев, благословляя меня на пост комсорга, строго предупредил: своих девок не трогать – затаскают потом! И вдруг Ирка с родителями подала документы на выезд. После исключения мы до закрытия ресторана отмечали это событие всем активом, напились в хлам, признавались друг другу в любви и пели, обнявшись, «Русское поле» – композитора Яна Френкеля на слова Инны Гофф. Фонарева плакала и клялась, что перед тем, как навсегда сгинет в Земле обетованной, обязательно съездит в Елабугу, где удавилась великая Марина Цветаева. Еще она предлагала любому желающему немедленно на ней жениться (можно и без секса), чтобы на правах мужа тоже свалить на Запад. Никто не откликнулся.

– Если что, мой номер у тебя есть, – выслушав, напоминал Палыч.

– Стучите по телефону?

– Вот именно. А правда ли, Георгий, что поэт Соснов живет с поэтом Зининым?

– Похоже на то… А что случилось?

– Да вот, жена Соснова накатала нам телегу, просит вернуть мужа в семью, к детям… – объяснял Бутов, рисуя в еженедельнике чертика.

– Вам написала?

– Нам, нам.

– Обычно про это в партком пишут, в крайнем случае – в райком.

– Она и туда писала. Но ей ответили, что оба поэта в КПСС не состоят, а в личную жизнь беспартийных после двадцатого съезда партия не лезет.

– А вы?

– Мы? Посадить за мужеложество, конечно, можно, есть такая статья в УК, но там, на зоне, ребят совсем уж испортят. – Палыч с тоской косился на стойку, где барменша мерным стаканчиком разливала по рюмкам водку.

– «Очнись от дум, мой витязь светлоокий, и чресла опояшь мечо-ом була-атным!» – пропел Лялин.

– Так что же делать будем, Виктор Павлович? – спросил Шуваев.

– Звонить надо Ковригину, в партком вызывать.

– Это правильно! – согласился Папикян и хотел снова запеть, но чекист сморщился. – Коль, отдохни от вокала. Дело серьезное. Звони, Жорж, пора!

– Я? – похолодел я.

– А кто же? – удивился Бутов. – Ты председатель комиссии, тебе и звонить.

– И что я скажу?

– Скажешь, что его вызывают в партком. Коротко и ясно, – разъяснил чекист. – Вперед за орденами!

– А если он спросит: «Зачем?»

– М-да, обязательно спросит… – покачал головой опытный Шуваев. – Я его хорошо знаю: въедливый мужик. Чисто купорос.

– Скажешь, у него взносы не заплачены… – как бы размышляя вслух, предложил Лялин.

– А если заплачены?

– Я таких писателей не знаю, у всех задолженности. Зарабатывают до хрена, а все равно жадничают, – с завистью заметил Палыч.

– Пожадничаешь тут… – вздохнул Лялин. – Я с последней книжки двести двадцать рубликов взносов заплатил. Финский костюм с ботинками можно купить!

– Где это ты возьмешь финский костюм за сто восемьдесят? – хмыкнул Бутов. – Минимум полсотни сверху отдашь.

– На закрытой распродаже.

– Ну, разве только…

– Звони, Егорушка! – отечески понудил меня Владимир Иванович. – Арина сказала, у него не уплачено за месяц. Пустяк, конечно, но повод есть.

– А если он спросит, почему я звоню, а не Арина?

– Как почему? Ты председатель комиссии по его персональному делу, – улыбнулся Лялин и запел: «Бей в барабан и не бойся, целуй маркитантку звучней!»

– Коля, ты не похмелился с утра? – сердито перебил Шуваев. – Какая маркитантка, какая комиссия? Ковригин еще ничего не знает. Вот что, Егор, скажи: тебе поручили обзванивать неплательщиков. Технический секретарь не справляется. Ну, кажется, все предусмотрели – звони, орелик!

Я набрал номер, сверяясь с подсунутой мне бумажкой, потом ждал, слушая мучительные гудки.

– Слушаю вас, – отозвался тяжелый мужской голос, оторванный от чего-то важного, скорее всего, от рукописи.

– Здравствуйте, Алексей Владимирович, вас беспокоят из парткома.

– Чему обязан? – удивился он, окая.

– Вы не могли бы приехать в партком?

– Когда?

– Когда… – Я вслух повторил вопрос, словно бы в раздумье.

– Как можно быстрее! – шепотом подсказал Лялин.

– Как можно быстрее, Алексей Владимирович, – скорбным эхом повторил я.

– Не мог бы. Уезжаю. Домой. В деревню. А в чем дело-то?

– У вас взносы не уплачены.

– Не может того быть! Я всегда за год вперед плачу. Проверьте!

– Ах, вот как…

– Именно так, голубчик! – Оканье приобрело недружелюбный оттенок. – Мне обычно Аринушка звонит. А вы-то, собственно, кто такой?

– Я?

– Вы.

– Полуяков.

– Не знаю такого.

– Я новенький.

– А раз новенький, у Аринушки спросите. Я в январе за год отвалил, полдня считала.

– Хорошо. Спрошу. До свиданья!

– Будьте здоровы!

И пошли гудки.

– Ну?! – в один голос вскричали все трое.

– У него взносы за год вперед уплачены.

– Это нарушение! – нахмурил кустистые брови Лялин.

– Его в Москве почти не бывает – то в деревне, то за границей. Ты столько голых баб в жизни не видел, сколько он – стран! – объяснил Шуваев и крикнул: – Арина!

Появилась заплаканная секретарша.

– Что ж ты мне, трындычиха, не сказала, что Ковригин за год вперед заплатил?

– Заб-ы-ыла…

– А куда ж ты его взносы девала? Профукала!

– По другим должникам раскидала… Когда они долги гасят, я за Ковригина вношу.

– Оч-чень серьезное нарушение! – вздернул крашеные брови Лялин.

– Да ладно тебе, – отмахнулся Шуваев. – А почему за август не внесла?

– Забы-ыла!

– Дура, сгинь с глаз моих!

– У-а-о-у! – зарыдала несчастная и скрылась за дверью.

– Зря ты так, Володя! – упрекнул Лялин. – У девушки горе.

– Правда, что ли, муж ей изменил? – после тяжелого молчания спросил, явно сожалея о своей резкости, Владимир Иванович.

– Правда, – скорбно кивнул Папикян.

– С лучшей подругой… – добавил, осклабясь, осведомленный чекист.

– Ну, если даже от таких девок налево бегают, тогда я вообще ничего не понимаю! – развел руками секретарь парткома.

15. Советские люди

С аппаратом окаянным
Некогда ни спать, ни есть.
Брешут, что за океаном
Секс по телефону есть…

А.

Некоторое время курили, соображая, что же теперь делать. Шуваев вскрыл коробку «Беломора». Лялин, щелкнув золоченой зажигалкой, дал огоньку секретарю парткома, а сам запалил душистый «Аполлон-Союз», совместное изделие «Явы» и «Филипп-Мориса», последний привет от разрядки, накрывшейся после сбитого корейского «Боинга». «Аполлон» давно из продажи исчез, и доставали его через знакомых. Бутов хмуро вынул из кармана зеленую пачку недорогих сигарет «Новость», их, по слухам, предпочитал покойный генсек Брежнев, пока врачи ему не запретили. А я задымил «Стюардессой», купленной специально для Леты. За окном под печальный вой духового оркестра из Театра киноактера выносили гроб.

– Кого хоронят? – спросил Папикян.

– Михаила Болдмана, – вздохнул партсек.[1]

– Какого Болдмана? – не понял Лялин.

– Который в «Поднятой целине» Макара Нагульного играет.

– Еврей – Нагульного? Ты что-то путаешь…

– Ты антисемит, что ли? – усмехнулся Палыч. – Быстрицкая-то Аксинью играет – и все довольны. С чего ты, Коля, взял, что Бол-ду-ман – еврей?

– Из фамилии. В баню я с ним не ходил.

– Успокойся, он из немцев. Трижды лауреат Сталинской премии.

– Ты-то откуда знаешь?

– Я одно время Союз кинематографистов курировал… – Бутов встал и подошел к окну. – Много народу-то собралось…

Мы тоже сгрудились у подоконника: на ступеньках толпились грустно одетые коллеги усопшего, черными розами казались шляпки театральных старушек. Прохожие останавливались и глазели на вынос тела, переговариваясь с унылым любопытством: чужие похороны – это, в сущности, – всего лишь репетиция твоих собственных. Духовой оркестр сотрясал стекла медным отчаянием. Безнадежно ухал большой барабан, плакали флейты. За венками несли гроб в красную оборочку. Вдруг провожающие захлопали в ладоши.

– У актеров так принято, – перехватив мой удивленный взгляд, объяснил Бутов. – Им же всю жизнь хлопают. Вот и – напоследок.

– Нас тоже так когда-нибудь… – вздохнул Лялин, – вынесут и забудут.

– Даже раньше, чем ты думаешь, Коля. А в некрологе напишут: гнобил великого русского писателя Ковригина. Э-х! – Шуваев ввинтил окурок в пепельницу.

– Не расслабляться, товарищи офицеры! Владимир Иванович, что за пораженческие настроения? – нахмурился чекист. – Ничего не поделаешь: надо колоться. Вот что, председатель, звони-ка снова и скажи так: в партком приглашают в связи с тем, что у нас тут его рукопись «Крамольных рассказов». Хотим послушать объяснения.

– А тебе, Виктор Павлович, это точно разрешили? – уточнил Лялин.

---

[1] В этом случае память мемуариста Егора Полуякова подвела. Михаил Болдуман умер и был похоронен в декабре 1983 года. (Примечание Ю. Полякова.)

– Да, как второй вариант.

– Может, все-таки согласуешь?

– Это у вас все надо согласовывать, а у нас в конторе начальство людям доверяет.

– Тогда звони, Жоржик! – подтолкнул меня к телефону парторг и пропел: «Рассейтесь, страх и морок слабодушья, восстань, герой, и подвиг соверши-и-и!»

– Неловко как-то!

– Егор батькович, – посуровел Шуваев, – не молодухе под подол лезешь – выполняешь ответственное партийное поручение!

Но было видно, что ему и самому все это не по душе. Я с тяжелым сердцем снова набрал номер.

– Слушаю вас! – примерно через тот же промежуток ответил классик.

– Извините, Алексей Владимирович, это снова Полуяков…

– Слушайте, Полуяков, а вы, собственно, кто такой? – Его оканье стало еще недружелюбнее.

– Я же сказал: член…

– То, что вы член, я уже понял. Чем еще занимаетесь?

– Писатель.

– Сомневаюсь. Писатели пишут, а не трезвонят по пустякам занятым людям. Что вам еще от меня нужно?

– Хотел принести извинения. Мы выяснили: взносы вы заплатили.

– Я вас прощаю.

– Но в партком мы просили бы вас все-таки зайти.

– Зачем?

– Видите ли, у нас тут рукопись ваших «Крамольных рассказов».

Партсек, парторг и чекист, словно кони в упряжке, одновременно кивнули головами, одобряя мои слова.

– А откуда она у вас? – после долгой паузы мрачно спросил классик.

– Откуда у нас ваша рукопись? – нарочно громко переспросил я, чтобы тройка могла сориентироваться в ситуации.

– Вы, Полуяков, плохо слышите? – разозлился Ковригин.

– В телефоне что-то трещит. Вы спросили, откуда у нас рукопись?

– Вы еще в третий раз повторите, умник! – взревел догадливый крамольник.

Лялин, играя крашеными бровями, сначала показал пальцами шагающего по столу человечка, потом изобразил костяшками стук в дверь и протянул мне воображаемую посылку.

– Нам ее принесли…

– И кто же?

– Кто принес?

– Слушайте, Полуяков, хватит переспрашивать! Если Шуваев рядом, лучше дайте ему трубку.

– Владимиру Ивановичу? Дать трубку? Простите, не расслышал…

Секретарь парткома замахал руками так, словно на него напало стадо шершней.

– Его здесь нет, – залепетал я. – Он в правление, кажется, ушел. Я тут один в кабинете. А рукопись принес нам курьер…

Все трое переглянулись и заулыбались, оценив мою находчивость.

– Откуда курьер-то? – с ненавистью проокал Ковригин. – Из какой такой организации?

– Откуда курьер, говорите? Из какой организации?..

Тут замотал головой Бутов, приложив палец к усам, и получилась буква «Т» с обвислыми краями.

– Я не могу вам этого сказать.

– Вот когда сможете, тогда и звоните! – рявкнул деревенщик и швырнул трубку.

Мне сильно шибануло в ухо, как в армейской юности, когда я был заряжающим с грунта и наша самоходная гаубица «Акация», присев в синем дыму, лупила из-за бруствера вдаль сорокакилограммовыми снарядами.

– Ну? – осторожно спросил Бутов.

– Интересуется, откуда у нас рукопись.

– Что делать? – заметался Лялин. – Что делать?

– Имеет право, – пожал плечами Владимир Иванович, глядя в окно. – А венков-то много. Все еще выносят…

– Да ну вас… – Чекист придвинул к себе телефон и дернул плечом, давая понять, что хочет поговорить без свидетелей.

– Ты же сказал, тебе доверяют! – поддел Шуваев.

– Ладно острить-то! – буркнул Палыч.

Мы вышли в каминную. Арина уже справилась с рыданиями, но сидела заплаканная и бледная, как вдова после похорон. Папикян погладил ее по голове и пропел:

– «Утри слезу, невинная девица, И над твоей судьбой взойдет денница!»

Но она словно ждала именно этого, чтобы вновь зареветь в голос.

– Иди умойся! – приказал Шуваев. – Еще раз нахимичишь со взносами – вы… порю…

Владимир Иванович явно хотел сказать «выгоню», но с Арининым отцом он дружил и вместе рыбачил. Секретарша, всхлипывая, ушла. В открывшуюся дверь на миг проник жующий гомон ресторана.

– Она разводится, – пояснил я.

– Чепуха! Все разводятся. Мы вот с тобой великого писателя губим, а я не плачу.

– «Но ты же советский человек…» – забасил Лялин.

– Коля, я тебе сейчас чернильницей в лоб дам!

– Вова, пей пустырник!

– Заход-ите! – позвал, выглянув из «алькова», чекист.

Мы зашли.

– Ну?

– Доложил как есть, – глядя на телефон с тоскливым уважением, сообщил Палыч. – Сказали: посоветуются и перезвонят. Но пока надо кое-что обсудить… – Он с недоверием посмотрел на меня.

– Ох, что-то сердце жмет, – поморщился Владимир Иванович. – Терпи, маленькое мое! Егорушка, не в службу, а в дружбу, скажи-ка Алику, пусть принесет сюда кофе и коньячок.

– Три кофе и три коньяка! – уточнил Бутов.

– По сто пятьдесят! – добавил Лялин.

– По сто, – мягко поправил секретарь парткома. – И погуляй, Егорка, минут десять, ладно? Не серчай! Ты молодой, необстрелянный, успеешь еще в государственных тайнах вымазаться.

16. Был ли секс в СССР?

Нет в прошлое возврата,
Нет на башке волос.
Теперь зовем развратом,
Что юностью звалось…

А.

«Ага, как Ковригину звонить и дураком меня выставлять, так – иди сюда, а как серьезный разговор – п-пшел погуляй!» – кипел мой разум возмущенный.

Выполняя приказ, я остановил Алика, с отвращением тащившего поднос грязной посуды, и передал ему распоряжение начальства.

– Ага, вот сейчас все брошу!.. – вскипел он.

– Просили побыстрей.

– Быстро только кролики сношаются.

– Тебе видней.

– Хам!

Я огляделся и увидел несчастную Арину. Она сидела за столиком, как «Любительница абсента», обхватив кудрявую голову одной рукой. Другая бессильно лежала на столике, в наманикюренных пальцах дрожала длинная импортная сигарета – дымок от нее вился наподобие арабской вязи. Перед брошенкой стоял ополовиненный бокал вермута.

– Ну, и в чем дело? – спросил я, подсаживаясь.

– Я не дура! Он же сам мне сказал – взносы раскидывать так, чтобы в райкоме не ругались за недоплату. Шагинян тоже с рюкзаком приползала. Вывалит на стол, а ты считай! Спрашиваю: «Мариэтта Сергеевна, с какой суммы платите?» А она мне: «Да, Ариша, очень много машин на улицах стало, а я еще конку помню!» Ни черта не слышала, старая сова.

– Зато писала до последнего. А с мужем-то у тебя что?

– Разводимся.

– Вы только поженились. Что случилось-то?

– Я точно ду-у-ура! – сквозь слезы созналась она, с чем мысленно пришлось согласиться: среди писательских дочек умных немного.

– Мы напились…

– В первый раз, что ли?

– Нет, не в первый. Но ко мне приехала Ленка Сурганова. Мы в школе вместе учились. А Ник привез ящик «Напареули» из командировки.

– Принесла бы попробовать.

– Мы все выпили. Извини.

– Ну и?

– Трепались о том о сем… Про секс тоже поговорили… Ленка, дура, спросила Ника, спал ли он хоть когда-нибудь сразу с двумя телками. Он: «Никогда». Она: «Хочешь попробовать»? Он: «Хочу».

– А ты?

– Я смеялась. Мы же еще и покурили. Главное, не помню, что потом делала.

– А что такого уж особенного ты могла делать?

– С Сургановой? Все что угодно. Она же повернутая на этом, «крези лав машин». А утром Ник сказал, что мы обе б… и он с нами… со мной разводится.

– А зачем тогда на «групповуху» согласился?

– Я его тоже про это спросила. Он говорит, хотел узнать, насколько я развратна.

– Узнал?

– Узн-а-а-ал…

– М-да.

Я вообразил, как в нечто подобное пытаюсь втянуть Нину. Ответом был бы удар хлебным ножом ниже пояса или горячим утюгом в висок. Насколько все-таки жена с техническим образованием надежнее растленных творческих дам!

– Утопчется, – неуверенно успокоил я Арину. – Напирай, что он сам захотел, ты была без сознания, совершенно беспомощная, а он с Ленкой этим гнусно воспользовался.

– Думаешь?

– Уверен. Главное разбудить в муже чувство вины, потом делай с ним что хочешь. – Я глянул на часы и поспешил в партком.

Там витал веселый дух настоящего армянского коньяка. Рюмки были пусты. Все трое напряженно курили, пили кофе и смотрели на телефон так, словно аппарат вот-вот должен был снести золотое яйцо. Грянул звонок.

– Бутов на проводе… Понял… По-онял. Есть – выполнять!

Он уважительно положил трубку на рычажки, вытер платком лоб и повернулся к Шуваеву:

– Владимир Иванович, звонить будешь ты.

– Но…

– Не обсуждается. Легенда такая: рукопись бдительный гражданин нашел в электричке, ужаснулся и отнес куда следует.

– А на самом деле?

– Не важно. Почти так оно и было. Понял?

– Не поверит.

– Да и хрен с ним. Но! – Чекист поднял палец. – Скажешь ему: Комитет государственный безопасности и горком в курсе.

– А ЦК? – тихо спросил Лялин.

– О ЦК речи пока нет. Звони!

Бедный Шуваев побледнел, думая, наверное, что зря переехал из Молдавии в Москву, подержался за сердце и неохотно набрал номер, зачем-то притормаживая пальцем диск. Ковригин отозвался сразу, видимо, ждал звонка.

– Леша, это я… Володя… Не узнал? Богатым буду… Полуяков? Нет, он вовсе не мудак. Просто у него такое поручение… Ладно, прибереги остроумие, оно тебе еще понадобится… Я не пугаю, советую по-дружески. В общем, так: твои «Крамольные рассказы» у нас… Да, вот так – принесли бдительные граждане… Я тебя и не собираюсь смешить. КГБ и МГК в курсе. Понял? Завтра тебя ждем… Нет, мил друг, деревню придется отложить. Ты не понимаешь, как все серьезно… Да, рассказы твои мне нравились, местами… – Шуваев с вызовом посмотрел на чекиста. – Но зачем разбрасывать их в электричках? Ты – коммунист, а не космополит с бубенчиками… Не ты их забыл в электричке? А кто, Святой Дух?.. Не юродствуй! Ждем тебя завтра в двенадцать ноль-ноль… Ах, ты еще поработать с утра хочешь! Ну, поработай, поработай! В три тебя устроит?.. Не опаздывай, Алексей Владимирович!

Секретарь парткома положил трубку и несколько раз прерывисто вздохнул, собрав синие губы в трубочку. Взявшись одной рукой за сердце, другой он отпер несгораемый ящик, достал оттуда початую бутылку коньяка, наполнил пустые рюмки, а мне налил в пыльный граненый стакан, стоявший рядом с замшелым графином.

Лялин запел:

– «Поднимем бокалы и сдвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

– Заткнись ты, Коля, твою мать! – рявкнул Владимир Иванович.

– Володя, будешь все принимать близко к сердцу – вынесут тебя, как Болдумана! – возразил, нисколько не обидевшись, парторг.

– К этому все идет…

– Но пока тебя, Володя, еще не вынесли вперед ногами, нам надо набросать список комиссии. А то ведь как выходит: председатель у нас уже есть, а комиссии еще нет. Непорядок. Так ведь, Жорж? – Папикян с насмешкой посмотрел на меня.

– Та-ак…

– У тебя, наш юный инквизитор, есть какие-то предложения?

– Не-ет.

– И правильно! Старшим надо доверять.

– …Но проверять, – выпив, добавил Бутов.

– Хватит издеваться над парнем. Он и так ни жив ни мертв. Ты ступай, Егорушка. – Шуваев махнул рукой на дверь. – Займись газетой. И будь на телефоне. По первой команде – ко мне. Понял?

– Понял.

17. Служебный роман

Советской морали невольник,
Помыслить об этом не смей!
И помни всегда: треугольник
Приводит к распаду семей!

А.

Из парткома я побрел в редакцию. Она ютилась в подвале, на углу Садового кольца и улицы Качалова. Ныне это снова – Малая Никитская. О том, что наш дом – творение великого Шехтеля, никто тогда даже не подозревал: обычный дореволюционный модерн с осыпающимся фасадом. Подъезд неухоженный, коммунальный, с множеством почтовых ящиков, прибитых к дверям. На лестнице пахло помойкой и кошачьими страстями, а в редакцию забегали крысы. Одна, самая пытливая, из-под шкафа иногда наблюдала за нами. Гарик пугал ее, прицеливаясь из швабры, но умная тварь лишь шевелила усиками, усмехаясь. Но стоило ему принести завернутое в простыню пневматическое ружье (его земляк работал в тире), крыса возмущенно пискнула и, не дожидаясь выстрела, исчезла. Думали, навсегда.

Напротив редакции, через дорогу, скрывалось за забором посольство Туниса. Когда-то в этом особняке обитал мрачный злодей Берия. К забору приходили зеваки, чаще иногородние, смотрели, шептались, даже спрашивали у постового: «Это здесь, что ли, женщин убивали?» «Здесь! – гордо отвечал милиционер и уточнял: – Сначала насиловали, а потом убивали!»

Шагая в редакцию, я страдал оттого, что для великого Ковригина теперь навсегда останусь «этим мудаком Полуяковым», а для Леты – навязчивым жлобом с жалкими астрами в руках. Изнывая от желания позвонить ей, я запрещал себе думать о предательнице. Нет уж, теперь все в семью! Остаток жизни посвящу поискам новизны в брачном уюте. Тоска ела мое сердце как могильный червь, и я не сразу заметил перемены, случившиеся возле бериевского особняка, пока я отсутствовал в редакции. Возле взломанного асфальта и свежей траншеи, огороженной металлическими барьерами, стояла патрульная машина, а милиционеры теснили ротозеев, пытавшихся заглянуть в яму. Я заинтересовался, подошел и по обрывкам разговоров понял: наконец-то нашлись кости бедных женщин, изнасилованных и убитых злодеем.

Говорят, он ездил по Москве в зашторенном черном автомобиле, высматривая на улицах столицы красивых дам и дев. Выбрав, чмокал мокрыми губами и показывал волосатым пальцем: «Эту хочу!» Охрана выскакивала, хватала несчастную, вскоре она оказывалась совершенно голой в постели похотливого мингрела. Если жертва без ропота удовлетворяла его изощренную похоть, то получала букет цветов и 10 лет без права переписки. От природы холодных или сопротивлявшихся безжалостно убивали и зарывали прямо здесь, в центре Москвы. Однажды Лаврентий Павлович выбрал юницу, гулявшую в сквере с таксой. По мрачной иронии судьбы она оказалась дочерью его же заместителя-генерала и отличалась не только девственностью, но еще и строптивостью – укусила наркома, страшно вымолвить куда. Речь, конечно, о гордой девушке, а не о таксе. Отец долго искал бесследно исчезнувшее дитя и благодаря служебным связям все-таки докопался до правды. Поседев за одну ночь, он достал из сейфа наградной пистолет, вошел без доклада в огромный кабинет Берии, обозвал его грязной скотиной, проклял Советскую власть, ее авангард – ВКП(б) и застрелился на глазах начальника-маньяка. Самоубийство списали на трудовое перенапряжение, похоронив генерала с почестями. Эту жуткую историю рассказали на днях.

Я спустился в подвал. Еще недавно тут тоже была коммунальная квартира. От входной двери тянулся коридор, упиравшийся в туалет и каморку без окон, где теперь хранились

швабры с ведрами, а прежде кто-то жил и размножался. По левой стороне располагались комнаты. В первой, самой большой, настоящей «зале», трудились Макетсон и корреспонденты – Маша Жабрина с Бобой Крыковым. Раньше ответсек сидел в отдельном кабинете, но потом попросился «к народу», якобы для «оптимизации процесса», а на самом деле, чтобы возлюбленная Маша была у него перед глазами. Крыкову, известному испытателю женского естества, Борис Львович не доверял. Теперь в его комнате расположился со всевозможными удобствами Толя Торможенко, выпускник Литинститута, начинающий провинциальный гений, удачно женившийся на дочке столичного начальника.

В третьей комнатушке грохотала на огромной «Десне» наша машинистка Вера Павловна, жизнерадостная неудачница, имеющая на иждивении больную старуху-мать и разведенную алкоголичку-дочь с двумя детьми. Кроме редакционных материалов, она для заработка перепечатывала диссертации, рефераты и рукописи графоманов, поэтому строчила непрерывно, как камикадзе, цепью прикованный к пулемету. Мой кабинет был последним по коридору.

Я осмотрел стоявшую в коридоре этажерку красного дерева и заглянул в залу. Борис Львович величаво сидел за столом, как жрец, разложив перед собой священный инвентарь: чистый макетный бланк, железный строкомер и толстые импортные фломастеры. За спиной у него стояла Жабрина и ерошила сенбернарские бакенбарды ответсека, отчего тот едва ли не урчал. Увидев меня, она нехотя отпрянула и спросила жеманно:

– Борис Львович, про вечер Парнова сколько строк писать?

– Пятьдесят, Машенька, больше не дам!

– Ах, какой вы жадный! – Жабрина села за свой стол, глянув на меня с улыбкой.

Верхние резцы у нее были вставные, на штифтах, и посинели у основания, поэтому за глаза мы называли ее «Синезубкой».

– Видели? – спросил Макетсон, явно имея в виду страшную находку возле особняка Берии.

– Видел.

– Каков злодей!

– На всех не женишься… – ответил я, имея в виду Машу.

Синезубка фыркнула и метнула в меня мстительный взгляд. Ответсек тяжело вдохнул. Маша ждала от него ребенка, что становилось день ото дня очевиднее, а он грустил, сникая: в подмосковной Обираловке у него уже имелись законная супруга, двое детей и любимая коллекция кактусов-маммиляриев. Иногда в отсутствие Макетсона я снимал трубку его телефона, доставшего всех бесконечными трелями, и слышал рыдающий женский голос: «Боря, одумайся! Дети соскучились…»

– А где Крыков? – спросил я.

– Кто ж его знает…

– Появится – сразу проведем планерку.

– Конечно, конечно… – отрешенно пробормотал Макетсон. – А пока прошу меня не беспокоить!

На его лице появилось сакральное выражение, с каким советский человек рассматривает десятидолларовую бумажку. Он закурил, мучительно затянулся, придвинул макетную полосу, взял в одну руку строкомер, в другую – красный фломастер. Такие в наших магазинах не продаются, их привозят из-за границы по дружбе.

– Можно я назову материал о Парнове «Обыкновенная фантастика»?

– Назовите, Машенька, назовите, и не отвлекайте меня больше!

– Не отвлекать? – Она надула губы. – Да сколько угодно!

– Я не в том смысле… – обеспокоился Макетсон.

– В том, в том… Георгий Михайлович, а что бы вы посоветовали вечером одинокой девушке посмотреть в кино?

– «Мы из джаза» хвалят, – сказал я, вспомнив чей-то отзыв о фильме неведомого режиссера Шахназарова.

– С каких это пор вы одиноки, Машенька? – дрогнувшим голосом спросил Макетсон.

– С сегодняшнего дня.

– А что же случилось?

– Мама в профилакторий уехала.

– Как? – Строкомер звонко выпал из рук ответственного секретаря.

– Борис Львович, не отвлекайтесь, чертите ваш макет! – Жабрина уязвила растерянного любовника синей улыбкой.

Чтобы не мешать их счастью, я вышел в коридор, «дот» Веры Павловны замолк, я толкнул дверь, так и есть: заперто. Опять куда-то без спросу умотала. Бардак! Решив с сегодняшнего дня стать не только верным семьянином, но и грозным начальником, я хотел вернуться в залу, чтобы узнать, сколько строк в номер сдала машинистка и по какой надобности отлучилась с рабочего места. В мое отсутствие ответсек оставался в редакции за старшего и отвечал за дисциплину. Но войти я не отважился: Макетсон и Синезубка целовались так громко, что слышно было через дверь. Бордель!

Наливаясь административной злостью, я вломился к Торможенко. О Толе стоит сказать подробнее. Он был шевелюрист и упитан, а кроме того, имел в лице от природы некую страдательную задумчивость, которая юным начитанным дурочкам кажется очевидным признаком большого таланта, даже гениальности. В результате за него, курского вахлака, вылетела замуж дочка большого человека – директора «Профпромиздата» Сумкина. Учась в Литинституте, Толя трудился еще и кочегаром в бойлерной, так в те годы пристраивались многие начинающие писатели. Работа при отопительных агрегатах считалась почетной, указывала на гонимую избранность, к тому же истопнику полагались служебная жилплощадь и временная прописка, поэтому устроиться истопником было не так уж и просто. В теплый подвал на огонек к Торможенко слетались творческие соратники с подругами. Пили вино и водку, спорили об искусстве, читали по кругу стихи и прозу, хвалили друг друга и ругали Советскую власть. Кто-то привел однажды в подвал начитанную дочку Сумкина. Ее настолько потряс Толин монолог о стилистической беспомощности Достоевского, что вскоре она пришла к нему снова, а когда ей шепнули, что кочегар сочиняет голографический роман, бедняжка совсем ослабла и осталась до утра. Вскоре начинающий гений переехал в номенклатурную квартиру тестя в Безбожном переулке, а меня вызвал ТТ и объявил:

– Георгий Михайлович, я нашел нам в газету отличного парня. Талантлив невероятно! Пруст!

– Замечательно, – отозвался я без энтузиазма: Пруста в переводе Любимова я читал на ночь, чтобы уснуть.

Во всем, что не касалось будущего голографического романа, Толя был ленив до невменяемости. Когда я вошел в комнату, он, утопая в табачном тумане, сидел за столом и медленно, двумя пальцами бил по клавишам портативной «Олимпии», которую ему подарил на день рождения тесть.

– Написал? – спросил я.

– Ну что ты! Тяжело идет. Года три еще придется повозиться…

– Я не про роман. Информашки в номер написал?

– Заканчиваю, – сообщил он с такой твердостью в голосе, что стало понятно: даже не начинал.

– Через полчаса у меня на столе! Ясно?

– Угу. Ты чего такой нервный? – спросил гений скучным голосом.

– А разве ты ничего не знаешь?

– Не-е-ет. Роман пишу.

– Ну, и ладно. Как появится Крыков, проведем планерку. – Я повернулся, чтобы уйти.

– Погоди, – остановил Толя. – Знаешь, чего не хватает Дос Пасосу?

– Чего?

– Густоты.

– А Кафке чего не хватает? – полюбопытствовал я.

– Фантазии.

– Ясно. Через полчаса информашки у меня на столе. Если опять все будут начинаться со слов «недавно в ЦДЛ…», я тебя…

Он с удивлением посмотрел на меня, мол, и что ты мне сделаешь? Сумкин и ТТ дружили еще с университета, объединяла их любовь к загранкомандировкам и неприязнь к евреям. Обе страсти понятны: зарубежных впечатлений в жизни советского человека было слишком мало, а евреев, наоборот, слишком много.

– А знаешь, чего не хватает Булгакову? – спросил Толя.

– Воланда…

– Интересная мысль!

18. Ноги в окне

Опять за окошком две стройных ноги
Стучат босоножками бодрыми.
А вдруг, идиот, это твой андрогин
Уходит, играючи бедрами?!

А.

Я зашел в кабинет – небольшую комнату с полукруглым подвальным окном под потолком. Сквозь пыльные стекла были видны лишь унылые ноги прохожих да лапы пробегающих крупных псов. Зато кошки и собачья мелочь представали целиком. Летом попадались изящные дамские щиколотки и миниатюрные ступни, опутанные ремешками босоножек. Но зимой и в межсезонье – тоска: сапоги, боты, стоптанные башмаки с белыми разводами от соли, которой посыпали лед на тротуаре.

Я сел за стол, заваленный рукописями, гранками и «собаками» – так называются бланки для материалов, засылаемых в набор. Почему «собаки»? Надо спросить у Макетсона: он все знает.

В моем кабинете пахло кислым позавчерашним табаком. Чтобы освежить воздух, я открыл форточку и закурил, обдумывая завтрашнюю встречу с Ковригиным. Нет, это невозможно! Как я посмотрю в глаза писателю, на книгах которого вырос?! Сердце заныло, словно его продуло ледяным сквозняком будущего позора. «Заболеть, что ли?»

– Звал, экселенс? – ко мне, запыхавшись, вбежал Боба Крыков, большой, кудрявый и энергичный, как агрегат для забивания свай.

– Где ты был, павиан бесхвостый? – спросил я.

– Там, где былым бывать опасно, в глубине амритсарских лавок! – ухмыльнулся мой подчиненный. – Лисенок сегодня во вторую смену. Покувыркались немного. Что вытворяет – не передать! Потом белье из прачечной забирал. Ко мне сегодня тройка нападения приезжает с ночевкой.

– А как же Лисенок? Ты говорил, у вас серьезно!

– Очень серьезно! Фантастическая девчонка! А тройка для Папы, он вечером, часам к восьми, после коллегии, подтянется. Но ты можешь к ним пораньше забежать. Они отзывчивые…

Боба жил рядом с редакцией, тут же, на улице Качалова, в сталинском доме, где на первом этаже располагался единственный в Москве магазин, торгующий подержанными книгами на иностранных языках. Получить комнату в центре ему помог, обратившись куда следует, классик советской драматургии Мартен Палаткин, которого Крыков за глаза нежно величал «Папой», а «тройкой нападения» он звал юных подруг-штукатурщиц, веселых и распущенных.

– Зайдешь?

– Нет. – Я твердо решил встать на путь исправления.

– Зря. Папа не брезгует. Девушки простые, но очень способные. Хватают все буквально на лету. Я показал им на видаке «Калигулу». Повторили один в один! Папа сначала думал, они из ВГИКа, а штукатурщицами прикидываются. Забегай!

– Нет, мне дочь из сада забирать. Ты знаешь, что Арина разводится? – спросил я, чтобы сменить тему.

– Все знают. Я же предупреждал ее: хочешь погорячей и побольше – обращайся ко мне. Нет, эта дура стала с мужем экспериментировать. Мы до этого еще не доросли. Но Папа говорит, в Америке все давно женами меняются. Свинг!

Палаткин – маленький пузатый драмодел, писавший исключительно о Ленине, был женат на самой красивой женщине советского кино, пышнотелой блондинке с боттичеллиевским ликом. А поди ж ты – развлекается со штукатурщицами! Загадочны и не исхожены дебри советского секса!

– Когда уберешь свою этажерку из коридора?

– Скажешь тоже, экселенс! Это же открытая горка. Псевдоампир из грушевого дерева. Мастерская Шмидта. Конец прошлого века.

– Когда уберешь свою псевдогрушу? Все об нее спотыкаются!

– Уберу, экселенс, не сердись! Я не виноват, что ты попал с Ковригиным.

– Ты-то от кого узнал?

– Все уже знают. Андропов велел Ковригина опустить. А тебя на комиссию бросили, чтобы комар носа не подточил. Ты же русский.

– И что мне теперь, русскому, делать?

– А у тебя есть выбор?

– Нет.

– Тогда надо просто выпить.

– Нельзя, мне завтра на Ковригина дышать.

– Двести пятьдесят граммов за ночь превращаются в чистую энергию.

– Ладно, после планерки, – сдался я.

– Я пока сбегаю.

– Сказал же, после планерки.

– А Торможенко все равно на месте нет.

– Как нет? Я же его видел. Куда делся?

– Сказал, ему надо одну мысль выгулять.

– Твою мать!

– Давай пока в высотку сбегаю. Где посуда?

– Там, где всегда… – Я обреченно кивнул на шкаф.

Там, среди свернутых в трубки отработанных полос, гранок и прочего хлама, наготове стояла огромная, видимо, доставшаяся от байдарочников, спортивная сумка со стеклотарой. Боба взял тяжело звякнувшую ношу с отходами творческой жизни редакции и пошел к выходу. На пороге он оглянулся:

– Ты мою квартиру скоро не узнаешь!

– А что такое? Ремонт будешь делать?

– Я? Нет. Ремонт – дело государственное!

– А как там твоя бабушка?

– Эта старая сука нас с тобой переживет! – И вышел.

19. Коммунальная графиня

Я был юн, озабочен,
Годы пыл укротили…
Ах, афинские ночи
В коммунальной квартире!

А.

В юности Боба Крыков, худой, трепетный, одержимый мечтой о славе, актерствовал в молодежной студии Мстислава Гордецова на Земляном Валу. Как-то спектакль начинающего коллектива посетила всемогущая Ирина Леонидовна Тулупова, сорокалетняя советская львица и театральный обозреватель «Правды». Режиссеры боялись ее до судорог: одной статьей в главной партийной газете Тулупова могла навсегда уничтожить или вознести. Боба играл юного Корчагина (всего в спектакле было 8 Павок) и так ей понравился, что удостоился чести проводить критикессу домой, где и заночевал в постели разведенной повелительницы. Львице он понравился: молодой, горячий. Вскоре, перешагнув через мольбы родителей, Боба переехал к ней с вещами на Плющиху в цековский дом из бежевого кирпича. Пару лет они жили как супруги, воспитывая сына Макса, едва ли не ровесника юного маминого мужа. Со временем Тулупова, пресытившись свежим сожителем, вновь потянулась к номенклатурным мужчинам с солидной проседью. А тут как раз овдовел заместитель министра торговли…

Впрочем, и Крыков, живя с матроной, продолжал интересоваться девушками. Во время частых командировок видной правдистки он водил на Плющиху табуны нестрогих прелестниц. Пасынок не выдавал, так как отчим щедро делился с ним излишками девичьей отзывчивости. Однажды они оказались на грани провала: Макс по неопытности влюбился в юную потаскушку и хотел признаться матери, прося благословения. Стоило большого труда уговорить его подождать до совершеннолетия. Вскоре Тулупова, внезапно нагрянув, обнаружила в своем доме такой декамерон, что Крыков вылетел на улицу в тот же день.

К родителям он не вернулся, стал жить самостоятельно, работал таксистом, хотя всегда тянулся к творчеству, но ни в один молодежный театр его не взяли, страшась мести оскорбленной львицы. С горя Боба заочно окончил Институт культуры. На сессиях не появлялся, но зато бесплатно возил декана факультета на своей «трешке», которую в пору упоительной взаимности ему подарила Тулупова. Тогда же он вместе Эдиком Фагиным стал промышлять антиквариатом и принес в дар председателю экзаменационной комиссии французский комодик «переходного» стиля. Получив диплом, Крыков вспомнил изобильное житье в семье правдистки и решил отдаться журналистике, хотя явных способностей к словосложению не имел. Впрочем, люди почему-то уверены: если в школе они получали за сочинения «четвертки», то стать писателями или журналистами им раз плюнуть. В «Стопис» Боба попал по рекомендации Папы, которому добыл пристенную консоль из ореха в псевдобарочном стиле с мраморной столешницей. Сухонин и Шуваев враждовали с Палаткиным, поэтому не смогли ему отказать.

Когда Боба появился в редакции, он уже растолстел и обзавелся животиком. Внешность ему досталась амбивалентная, при желании его можно было принять и за еврея, и за русского. Он этим искусно пользовался: в первом случае возводил свою фамилию к бабелевскому Бене Крику, а для русопятов имелась другая версия: мол, прозвище «Крык» его дед-казак получил за жуткий сабельный удар, разрубавший вражьи кости со страшным хрустом: «кры-ы-ык». Верили ему и те, и другие. Кем был он на самом деле, я так и не разобрался, да это, в сущности, неважно для нашей истории. Однако именно благодаря такой «амбивалентности» все, что творилось в противоборствующих станах литературы, Боба знал достоверно из первых уст.

В большой коммунальной квартире он занимал одну комнату. Обстановка спартанская, ничего лишнего: огромная кровать, старый шифоньер, стол, стулья и видак «Шарп», подключенный умельцами к отечественному телевизору «Шилялис». Жилье выглядело ужасно: обои висели клоками, обнажив желтые газеты с отчетами о процессах 1930-годов и заголовками вроде «Смерть троцкистским гиенам!». Паркет местами был утрачен, а из-под плинтусов шевелили усами черные тараканы. Никакого антиквариата в доме не водилось, его Боба воспринимал лишь как объект перепродажи. Имелась в квартире облупленная ванная с водонагревательной колонкой, гудевшей из последних сил, а само корыто, некогда эмалированное, выглядело таким грязным и выщербленным, словно в нем эскадрон казаков выкупал подкованных коней. В туалете журчал древний унитаз с ржавой промоиной – первенец советской сантехнической отрасли. В поднятом под потолок чугунном бачке, обметанном каплями воды, Крыков охлаждал запасы водки.

Вторая комната после смерти жильца пустовала и превратилась в склад рухляди и товара. В третьей доживала свой век полуслепая и глухая старушка Полина Викентьевна Вязьникова. Боба почему-то звал бабку «графиней», уверяя, что до революции та окончила Институт благородных девиц, но в Париж убежать не успела, всю жизнь отработав стенографисткой в Главторфе. Как-то, будучи у него в гостях, я пошел на кухню за чайником и увидел ветхую «графиню». Помешивая в кастрюльке баланду, Полина Викентьевна разговаривала сама с собой, как это часто бывает со стариками, но по-французски. Крыков с нетерпением ждал, когда бабушка помрет, чтобы получить в полное распоряжение всю квартиру, и держал на примете фиктивную невесту – одинокую лимитчицу с двумя детьми.

– А если она потом не выпишется?

– Выпишется.

– А если?

– Убью и закопаю в Сокольниках! – отвечал он с разгильдяйской улыбкой, но я ему почему-то верил.

Впрочем, все это не мешало Бобе подкармливать еле живую соседку, когда кончалась ее крошечная пенсия.

– На, старая сука, подавись и сдохни! – обычно говорил он, вручая ей хлеб, молоко и сосиски из гастронома.

– О, мерси, Роб*е*р, благодарю! – Глухая бабка от счастья лучилась всеми своими морщинами.

К женским табунам, проходившим через комнату соседа, она относилась снисходительно: разнузданное торжество плоти ее не смущало. Молодость «графини» совпала с растленным серебряным веком и ранней советской распущенностью, когда в домах-коммунах устраивались афинские ночи, дабы привить трудящимся коллективизм на уровне интимных содроганий. А комсомольцам в качестве пособия выдавали половую азбуку Меркулова, где каждая буква складывалась из двух-трех, а то и четырех голых тел, заплетенных в рискованные совокупительные позы.

На шумные оргии за стеной Полина Викентьевна не обращала внимания, зато не любила, когда сосед устраивал на квартире людные аукционы мебельного антиквариата, и анонимно ябедничала участковому. Но больше всего графиня Вязьникова реагировала на перепады погоды: «Робер, я, кажется, умираю…» Боба, потирая руки, вызывал «Скорую помощь» и, наблюдая реанимационные действия, скорбно спрашивал врача:

– Как вы думаете, доктор, сколько ей осталось?

– А вы кто ей?

– Двоюродный внук.

– Трудно сказать, но сердце у вашей бабушки для таких лет отменное. Еще помучится.

– Вот и славно! – кивал внучок, грустнея.

20. Секс сексота

Возьмем диссиденток лихую породу:
Готовы отдаться любому хрычу.
Шепни им про нашу и вашу свободу,
Ругни коммуняк и люби – не хочу!

А.

Проводив Бобу в высотку, я придвинул к себе гранки и стал читать. Вскоре зашел Толя.

– Выгулял мысль? – ехидно спросил я.

– Выгулял. – Он швырнул мне на стол «собаку» с информашками.

Я посмотрел: все они как одна начинались словами: «В Центральном доме литераторов имело место быть…»

– Знаешь, – Торможенко без разрешения вытряхнул из моей пачки сигарету и закурил от настольной зажигалки в виде сапога. – Я бы «Войну и мир» сократил раза в два.

– Ты сначала напиши «Войну и мир». Нет, Толя, так не пойдет! Какое к черту «имело место быть»? Так теперь не говорят.

– Говорят. Хороший старый русский оборот. Не нравится?

– Не нравится.

– Зря! Видно, ты попал под влияние инородцев и утрачиваешь корни.

– Никуда я не попал.

– А зачем тогда согласился участвовать в травле Ковригина?

– Ты же не знал про это?

– Из Курска позвонили. Ты мне не ответил!

– А у меня есть выбор?

– Есть.

– Какой?

– Застрелиться.

– Да пошел ты! Стой! Никуда больше не уходи! Вернется Крыков – сразу проведем планерку.

Толя величаво кивнул и удалился, а я вернулся к гранкам, но тут в кабинет заскользнул Макетсон.

– Можно? – он кивнул на мои сигареты.

– Конечно, Борис Львович.

– Георгий Михайлович, я утром был там… – Ответсек неторопливо закурил и пустил струю дыма вверх. – Они очень озабочены ситуацией с Ковригиным и рассчитывают на вас! – Он пристально посмотрел мне в глаза. – Вы понимаете?

– Не очень.

– Попробую объяснить…

Год назад Макетсона, как бывалого журналиста, привлекли к работе над сборником «Чертополох предательства» – о советских диссидентах. Сначала его вызвал главный редактор «Политиздата» Карл Сванидзе, папаша нынешнего Сванидзе, а потом пригласили на Лубянку – поговорить. Львович вернулся окрыленный, вскоре его командировали в одно из образцовых исправительных учреждений Мордовии. Там Макетсон под диктофон побеседовал с раскаявшейся активисткой Гельсингфорсской группы Зоей Кацман: взамен ей обещали досрочное освобождение и выезд на историческую родину. Львовичу удалось разговорить смутьянку, сказались близость по «пятому» пункту и дальние родственные связи. Зоя поведала ему грязную

изнанку правозащитного движения, упирая на беспорядочные половые связи, царившие среди борцов за вашу и нашу свободу. Будучи в юности недурна собой, она участвовала в подпольных семинарах и дискуссиях в качестве приза, даже гордилась тем, что поощрительно легла однажды в постель с весьма неказистым автором доклада об обреченности социализма. В подполье Зоя попала буквально с университетской скамьи во многом под влиянием бабушки – несгибаемой троцкистки, десятилетия прикидывавшейся сталинисткой, а после XX съезда – ленинисткой. Дело вот в чем: когда красные подошли к Одессе, прадед Кацман, крупный хлеботорговец и купец первой гильдии, старшего сына отправил в Стамбул, где имелась заграничная контора фамильной фирмы, младшего определил в одесскую ЧК: не бросать же без присмотра дом на Дерибасовской и пакгаузы в порту. Сам же он, когда зашатался НЭП, отбыл на покой в Москву к дочери, которую заранее пристроил в Концессионный комитет к Троцкому – шустрому племяннику своего компаньона по оптовой хлебной торговле. Годы совместной работы с «львом революции» навсегда запали в пламенное сердце бабушки, поделившейся своим жаром с внучкой.

Беседу с раскаявшейся диссиденткой под названием «Совесть пробуждается» опубликовали в «Труде». Однако отпущенная на свободу, Зоя, едва сойдя с трапа самолета, доставившего ее в Вену, объявила, что злополучное интервью у нее вырвал чуть ли не под пыткой матерый агент КГБ, умело игравший на ее национальных и женских чувствах. Бедняжку пожалели, оставили жить в Австрии, назначив большое пособие как жертве тоталитаризма.

После Мордовии Макетсон сделался гордо-задумчивым, стал еще дольше засиживаться в Пестром зале, попивая кофе и беседуя с мыслящими литераторами о политическом моменте. Иногда особым жестом он доставал из бокового кармана бумажник, где в одном из отделений хранилась вырезка из «Венского телеграфа». Статья называлась «Зоя Кацман – жертва психологического садиста из КГБ». В поведении Бориса Львовича появилась брутальная тайна, на которую так падки дамы, и Синезубка, прежде лишь посмеивавшаяся над его робкими ухаживаниями, не устояла. С тех пор ответсек стал часто отпрашиваться с работы, заходил ко мне в кабинет и сообщал:

– Мне надо – туда! – и показывал пальцем вверх. – Вызывают…

Я пожимал плечами. Кто же не отпустит сотрудника «туда»? Иногда Львович опаздывал или вообще не являлся на работу, звонил и важно объяснял: его срочно привлекли в качестве консультанта по закрытой теме. Как-то Макетсона снова послали в Мордовию, явился он через неделю, загорелый, словно побывал в Крыму. В те же дни взяла бюллетень Синезубка и тоже явилась на работу посмуглевшей. Меня, конечно, все это злило, но приходилось терпеть: КГБ все-таки…

Борис Львович курил, ходил по комнате, говорил загадками и намеками:

– Георгий Михайлович, вы понимаете, что втянуты в большую политическую игру?

– Понимаю.

– Кстати, меня снова вызывают туда.

– Вы же были там недавно?

– Наверное, хотят посоветоваться.

– С вами?

– Что вы так удивляетесь? Не волнуйтесь, я дам о вас лучшие отзывы и рекомендации. Не переживайте! Думайте о чем-то хорошем. У вас есть аквариум?

– Нет.

– Напрасно. Впрочем, с рыбками много возни. Заведите, как я, кактусы. Вы не представляете, какая это красота! Жаль, вы не видели мою оранжерею! Скоро зацветет эбнерелла. Это божественно!

– И когда вас вызывают «туда»? – спросил я.

– Прямо сейчас.

– А планерка?

– Проведем завтра. Номер в целом сложился.

– А макеты?

Борис Львович посмотрел на меня с насмешливым удивлением. В самом деле, что такое макеты в сравнении с государственной безопасностью?!

– Ладно, идите!

Через пять минут в окне мелькнули модные Машины сапожки, а рядом с ними – медвежьи мокроступы хромого ответсека. В молодости он увлекался мотоспортом и, поднимаясь на «Хорьхе» в горы, кажется, на Казбек, сорвался и переломал ноги. Кости срослись, но остались хромота и чувствительность к переменам погоды. Сапожки и мокроступы спешили явно не в «контору», а в свободную от материнского пригляда квартиру. Право слово, торопиться следовало: растущий живот Синезубки обещал вскоре осложнить счастье взаимного обладания.

21. План «Зашибись!»

Нет, жизнь не напрасна, покуда
Торопится рюмка к устам,
Пока есть пустая посуда,
Которую встану и сдам…

А.

Боба вернулся с «андроповкой», половинкой «бородинского» и двумя плавлеными сырками «Дружба».

– Вот суки! – с порога выругался он.

– Что там еще такое?

– Не хотели бутылки принимать. Тары у них нет! Но со мной такое не проходит. Спросил: а по восемь копеек за горлышко возьмете? Тара сразу нашлась. Я повернулся и – на выход. Кричат: «Вы куда, молодой человек?» А я им: «В народный контроль. Скоро вернусь!» Догнали, валялись в ногах, взяли по двенадцать копеек все до одной, даже щербатые, и нашли в подсобке «андроповку». На витрине не было.

– Ну, ты даешь!

– Социализм, экселенс, – строй неплохой, но им надо уметь пользоваться!

– Наливай!

– Ты же сказал – после планерки.

– Планерка завтра. Макетсона вызвали в контору.

– Врет! Машку повез петрушить.

– Ясно – врет.

Крыков сорвал с горлышка «бескозырку» и разлил по стаканам. Я тем временем порезал хлеб и плавленые сырки. Чокнулись – организм сначала содрогнулся от непрошеной водки, но вскоре благодарно потеплел в ответ.

– Так что ты говорил про ремонт? – спросил я, жуя корку с пряными ядрышками кориандра.

– У меня есть план «Зашибись!».

– Что за план?

– Могила?

– Могила, – пообещал я.

Мы еще выпили. Первая рюмка встретила вторую как родную. Оказалось, Боба услышал разговор про то, что на даче Папы Литфонд делает срочный ремонт, так как в Москву едет знаменитый американский драматург Артур Миллер, один из мужей Мэрилин Монро. В программе значилось чаепитие у коллеги в Переделкине. Выбрали, конечно, Палаткина, но разве можно принимать иностранца на казенной даче, где линолеум протерт до дыр, а в «удобства» страшно зайти. Дали команду, и литфондовские мастера бросились приводить интерьер в порядок, чтобы не позорить СССР перед человеком, имевшим, хоть и недолгое, касательство к красотам великой блондинки.

И Бобу осенило! Он стащил в правлении бланк. Сделать это совсем не трудно, так как секретарша Мария Ивановна за обедом всегда пропускала несколько рюмочек, после чего всех визитеров, включая классиков советской литературы, называла «зайцами», а за бумагами вообще не следила. Как-то пропало письмо Брежнева, где он тепло благодарил московских писателей за высокую оценку его «Малой земли». Нашли в корзине. Марию Ивановну страшно

отругали, она неделю за обедом не притрагивалась к спиртному, но вскоре все пошло по-прежнему.

На украденном бланке Крыков навалял официальное письмо на имя начальника Райремстройжилуправления. Боба вынул из кармана мутный четвертый экземпляр и с гордостью предъявил. Что и говорить, бумага была составлена виртуозно, по всем правилам советского канцелярского искусства:

Уважаемый, допустим, Иван Иванович!

В конце сего года в Москву по приглашению Союза писателей СССР прибудет знаменитый английский драматург сэр Теннеси Уильямс, который в рамках программы, утвержденной Министерством культуры СССР, ЦК КПСС и курирующими органами, посетит в домашних условиях одного из ведущих советских драматургов. Эта ответственная миссия возложена на молодого автора Роберта Крыкова, проживающего во вверенном Вам районе, по адресу: улица Качалова, дом 14, квартира 35. Однако особая комиссия Союза писателей СССР признала состояние помещения порочащим нормы советского быта, а также бросающим незаслуженную тень на всю нашу социалистическую явь. В связи с этим настоятельно просим Вас до 1 декабря с. г. провести полный ремонт вышеозначенной трехкомнатной коммунальной квартиры с радикальной заменой сантехники, агрегатов отопления и паркета. Надеемся на Вашу гражданскую сознательность и партийную ответственность. По всем частным вопросам обращаться к Крыкову Роберту Леонидовичу. Дом. телефон: 291–18–56.

С уважением
М. М. Палаткин,
Секретарь СП СССР,
лауреат Ленинской и Государственной премий

– Думаешь, сработает? – засомневался я.

– Или! Умные люди только так ремонты и делают. Уже звонили. Просили отсрочки до января, когда выделят фонды. Но я им сказал: ноябрь, иначе обращусь в курирующие органы.

– Куда?

– В КГБ.

– Убедительно. Но Теннеси Уильямс, кажется, умер.

– Какая разница?! Они все равно его не знают.

– А графиня?

– Положу в больницу. Уже договорился. Ну, за светлое будущее! – Он налил еще.

Действительность окрасилась в нежные пастельные тона. В кабинет, открыв дверь ногой, зашел Торможенко и хлестнул на стол, как козырного туза, «собаку» с информашками: все они начинались теперь словами:

«Днями в ЦДЛ состоялись…»

– Пойдет? – спросил он.

– Пойдет, – капитулировал я, поняв, что сопротивление бесполезно.

Толя, не спросив, вылил оставшуюся водку в стакан, выпил, не чокаясь, крякнул, смел последние кусочки сыра «Дружба» и пошел к выходу.

– А спасибо, жлоб? – возмутился Боба.

– Плачу славой. Вы еще в мемуарах напишете, как со мной водку жрали! – не оборачиваясь, бросил тот.

Мы переглянулись и промолчали. Боба предложил снова сбегать в высотку. Перед тем как согласиться, я глянул на часы и обомлел: половина шестого, а мне забирать Алену из дет-

ского сада. Общественным транспортом в конце рабочего дня добираться до Орехова-Борисова больше часа. Схватив портфель, я ринулся к выходу.

– Экселенс, я хотел тебе дорассказать…

– Потом.

Тут на моем столе зазвонил телефон.

«А вдруг Лета?» – Я воротился от двери и снял трубку.

– Жор, хорошо, что ты на месте! – выплаканным голосом произнесла Арина. – Срочно к Владимиру Ивановичу!

Проклиная свою дурацкую мечтательность, я помчался в партком. В тамбуре Клуба висело свежее объявление. Строгие красные строки, выведенные плакатным пером, оповещали:

За антиобщественное поведение члену СП СССР Перебрееву А. Н. запрещено посещение Дома литераторов в течение месяца.
Правление

Я бросил куртку Козловскому, спросив на бегу:

– Газету покупают?

– Слабенько. Гвоздя в номере нет, – ответил он мне вдогонку.

Тихий поэт Перебреев как ни в чем не бывало сидел в баре и пил водку с соком. Рядом грустила известная поэтесса Анна Кошарина, недавно шумно порвавшая со своей многолетней возлюбленной – еще более известной поэтессой Региной Черкасовой, секретарем правления. Анне достоверно донесли, что на Днях литературы в Вильнюсе Регина утром вышмыгнула из номера грузинского прозаика Вово Эбанаидзе. Взбешенная Кошарина подкараулила Черкасову, когда та привела на обед в Дубовый зал делегацию вьетнамских писателей, маленьких, как дети-герои, подскочила и с горькими упреками на глазах опешивших вьетконговцев надавала ей пощечин. Анну тоже хотели лишить на месяц права посещения ЦДЛ, но потом учли ее личную драму и только пожурили, пожелав утешиться в надежных мужских объятиях. На заседании правления седой стихотворец Бездынько мечтательно вспомнил:

– А я-то в свою первую жену из наградного «маузера» стрелял.

– Попал?

– Патрон перекосило.

Когда я проходил мимо бара, Анна остановила меня жестом. Мы были знакомы: лет пять назад она возглавляла нашу комсомольскую организацию.

– Гера, угостите сигаретой!

– Да, конечно, вот…

– Спасибо! Не курите «Стюардессу», могут плохо подумать. И учтите, вас втягивают в гнусное дело. Будьте осторожны и никому не верьте! – Сказав это, она огляделась, будто за ней следили. – Никому не верьте, но особенно этой суке Регине!

В приемной тосковала над протоколами Арина. Из-за толстого слоя пудры она напоминала лицом маляршу, белившую потолок.

– Как дела? – с вымученной бодростью спросил я.

– Звонил Ник.

– Вот и хорошо!

– Сказал, что сегодня ночует у родителей.

– Не страшно. Осознает и соскучится. Ты главное – повторяй: ничего не помню.

– Зато Ленка Сурганова все помнит.

– А ты не помнишь – отсутствовала.

В алькове меня ждал хмурый Шуваев. На столе перед ним возвышалась стопка одинаковых красных папок с черными тесемками, аккуратно завязанными бантиками.

– Ну, попали мы с тобой, комсорг…

– Еще что-то случилось?

– Куда уж больше! На вот – почитай! Только что доставили. Оттуда.

Он протянул мне верхнюю папку. Никаких наклеек или надписей на ней я не заметил.

– Что это?

– «Крамольные рассказы», мать их так! Прочтешь и вернешь завтра в четырнадцать тридцать. Не опаздывай, как сегодня! В пятнадцать ноль-ноль у нас Ковригин. Перед этим надо еще мнениями обменяться с членами комиссии. Приходи пораньше.

– А кто члены?

– Завтра и узнаешь. Нет, ну что за человек? Собрание сочинений? Пожалуйста, Алексей Владимирович! На три месяца в Англию? Ради бога, Алексей Владимирович! Квартиру в Лаврушенском? Получите! Что тебе еще, сукин сын, надобно? Советская власть теперь добрая, незлобивая, пиши, как хочешь, только в электричках не разбрасывай… Ты же свои повести не разбрасываешь?

– Не разбрасываю…

– А его рукопись была в свежую немецкую газетку завернута. Такую в киоске «Союзпечати» не купишь. Из посольства. Уловил?

– Да ну?

– Вот тебе и «да ну»! Понял теперь, почему чекисты завелись?

– Теперь понял.

– Ладно. Читай, смекай, делай выводы и не повторяй чужих ошибок. Рассказы никому не показывай, ни одной душе, даже жене.

– Конечно. За кого вы меня принимаете?!

– За живого человека. Копий не снимать ни под каким видом! Строго предупредили: все экземпляры пронумерованы и учтены, бумага меченая. Твой экземпляр… – он заглянул в папку, – пятый. Иди, комсорг, завтра у нас с тобой трудный день.

Я схватил папку и рванул к двери, понимая, что в детский сад уже почти опоздал.

– Назад! Вот здесь чиркни!

Пришлось вернуться и поставить закорючку на машинописной расписке, гласившей, что я, такой-то, получил на ознакомление комплект документов для служебного пользования категории секретности «Б» на ста четырнадцати страницах, каковой обязуюсь вернуть в указанный срок.

– Вот такие мы с тобой, Егор-помидор, бумажные душонки! А иначе нельзя. Государство, мил человек, на секретах и циркулярах держится. Я когда еще до Молдавии в Казахстане работал, у нас случай был. Главред областной газеты инструктивное письмо ДСП по пьяному делу потерял. Знаешь, что с ним сделали?

– Расстреляли?

– Хуже! Велели жениться на уборщице, которую он по первомайской оказии спьяну обрюхатил и отнекивался. Вот уж страшна была девка! Тохтамыш в юбке. Она ему сразу тройню родила. Один на него похож, остальные – чистое татаро-монгольское иго! Умела партия наказывать. Ну, иди!

Пробегая по Пестрому залу, я увидел Андрюшкина и Продольного, они сидели за столиком, обнявшись над пустым графинчиком, и тихо пели:

Вы слыхали, как поют дрозды,
Нет, не те дрозды не полевые…

Выдранный зубами клок замшевого пиджака был грубо пришит через край.

А дрозды, волшебники-дрозды,
Певчие избранники России…

22. Домой!

Не пролезть рвачам и лежебокам
В коммунизм, который – наша цель.
С удовлетворением глубоким
Утром – в цех, а вечером – в постель.

А.

От «Баррикадной» до «Пушкинской» я доехал в тесноте, но не в обиде. Зато в узком переходе на Горьковскую линию пришлось потолкаться, а в вагон удалось втиснуться с третьей попытки, пропустив два набитых до отказа состава. Несмотря на давку, почти все пассажиры читали – книги, журналы, даже газеты, сложив полосы осьмушкой. Прижатый к дверям, я с трудом извлек из портфеля красную папку и умудрился открыть, развязав тесемки. Пропустив предисловие, я начал первый рассказ. Автор и его подруга купили за городом кулек вишен, и она, так как он вел машину, клала ему ягоды прямо в рот, не забывая о себе. Писатель поначалу умилялся, но потом заметил: дама-то себе выбирает ягоды получше, а ему поплоше. Тут и кончилась любовь, больше с этой эгоисткой он не встречался.

«Боже мой, из-за такой ерунды человека на партком тащат!» – мысленно возмутился я и заметил, что несколько притиснутых ко мне пассажиров косят глаза в мои засекреченные странички. В ту пору по рукам ходило немало отксеренного «самиздата» и «тамиздата», а проезжим людям интересно, каким именно запретным плодом балуется случайный попутчик. Заложить – не заложат, а неприятно, словно кто-то за твоей личной жизнью подглядывает. Помня наказ Шуваева, я спрятал папку и стал сквозь стекло наблюдать, как в мятущейся полутьме тоннеля извиваются, сплетаясь и разбегаясь, силовые кабели. Казалось, электропоезд мчится, спасаясь от стаи черных и белых летучих змей.

Из головы у меня не шла крыковская затея. Самое смешное, что эта афера могла удаться. В СССР верно составленная и по назначению отправленная бумага творила чудеса. Моя бабушка Анна Павловна с дочерью, моей теткой Клавдией, обитали в коммунальной квартире на Чешихе, а точнее, в Рубцовом переулке, идущем от Большой Почтовой улицы к Яузе. Отец был прописан там же, но жил с нами – сначала в заводском общежитии на Бакунинской, а потом в Бабушкино, где мать получила от Маргаринового завода «двушку». Предлагали в Мытищах «трешку», но тогда терялась московская прописка, а «лимитчики» за нее годами ишачили на вредном производстве или женились черт знает на ком.

Чешиха – страшное место: по слухам, там даже октябрята ходили с финками и кастетами. Впрочем, я часто навещал родню, уезжал порой поздно, и меня только раз остановили пацаны, попросили сигарету и, узнав, что я не курю, всего-навсего дали в глаз. Так вот, моя тетя Клава страдала душевным заболеванием, возникшим на почве сильного испуга. Будучи девушкой, она шла после вечерней смены с ткацкой фабрики, и на нее напали хулиганы. Что там случилось на самом деле, семейное предание умалчивает, но замуж тетя потом так и не вышла, мужчин чуралась, даже не заглядывала в ванную, когда бабушка меня мыла, а только просовывала полотенце в дверь. По выражению отца, «Клавка почуднела», а с возрастом и вовсе сошла с ума. В итоге диагноз: шизофрения. Ей как душевнобольной по мудрым советским законам полагалась отдельная квартира: мало ли какая дурь придет в нездоровую голову, а рядом невинные соседи. Тетку поставили на учет и записали в специальную жилищную очередь, которая почти не двигалась. Шли годы, в разговорах взрослых постоянно всплывали одни и те же странные слова: «ВТЭК» и «врачиха Хавкина», которая якобы из года в год отдавала отдельную квартиру, положенную тетке и бабушке, своим дружественным психам.

Став студентом, прошу заметить, первым в нашем клане человеком, покусившимся на высшее образование, я решил помочь родне. Как-то раз, навещая мою 348 школу, я поделился бедой с директором Анной Марковной Ноткиной. За глаза мы звали ее «Морковкой». Она меня любила, даже ходила со мной сдавать вступительные экзамены в пединститут: а то ведь завалят, сволочи, гордость школы. Морковка выслушала мой рассказ очень серьезно, потом, поразмыслив, молвила:

– Гоша, я тебе помогу. Но ты должен все сделать так, как я скажу.

– Сделаю. Но что?

– Приближается съезд партии…

– И вся страна встала на трудовую вахту… – подхватил я с иронией.

– Не зубоскаль, а лучше записывай! За три дня до открытия съезда в общественной приемной на улице Куйбышева начнут принимать заявления трудящихся. Ты должен сдать свое письмо на имя съезда в первый день, до обеда. Понял? До обеда.

– А если позже?

– Тогда письмо не попадет в первую обработанную порцию и вероятность положительного решения вопроса резко снизится. Понимаешь, в последний день должны объявить делегатам, что в адрес съезда поступило столько-то писем и обращений трудящихся, по стольким-то уже приняты решения, остальные переданы в профильные отделы ЦК и на места. Твое письмо должно попасть в эти «столько-то процентов». Понял?

– Спасибо, Анна Марковна! – Я встал.

– Сядь, это только начало. Письмо должно быть не больше одной страницы.

– Почему?

– Потому что первая обработка делается так: короткие письма в одну кучу, а все остальные в другую.

– Почему?

– Некогда длинные жалобы читать. Время поджимает.

– А вы откуда знаете?

– На прошлом съезде я была в такой рабочей группе. Райком послал. На страничке надо сжато, но главное четко изложить суть проблемы и просьбу.

– Ну, теперь-то все ясно…

– Да сядь же ты! Письмо должно быть обязательно напечатано на машинке.

– Это чтобы каракули не разбирать?

– Правильно! И наконец, надо обязательно указать лицо, от которого зависит решение вопроса, и непременно с телефоном.

– Чтобы могли сразу позвонить.

– Да! Соображаешь. Времени мало, а чем больше писем обработано, тем лучше для отчета перед съездом. Нам за это даже премию дали.

– Значит, надо указать телефон врача Хавкиной?

– Лучше начальника ВТЭКа.

– Спасибо, Анна Марковна!

– Не-ет, за это ты, Гоша, напишешь нам сценарий последнего звонка!

…У метро «Каширская», возле остановки 148 маршрута, извивалась нервная очередь: автобуса не было минут двадцать. «Опять козла забивают!» – возмущался народ. Женщины стояли с сумками, распухшими от продуктов, мужчины все больше с портфелями, как и я. Правда, один дедок в большом рюкзаке вез из ремонта стиральную машину «Малыш». В стороне, вдоль тротуара выстроились такси и частники-бомбилы. Они развозили пассажиров во все уголки Орехова-Борисова и брали за это по рублю с носа. Без колебаний я сел в «Волгу» цвета заветренного майонеза. Минут десять таксист искал еще трех попутчиков. Последнего, явно иногороднего, с двумя чемоданами он привел из автобусной очереди, и мы рванули.

…Я все сделал так, как научила Анна Марковна, но скорее для того, чтобы себе и ей доказать: в нашей стране преданных идеалов ленинизма добиться справедливости нельзя. В ту пору я, как и все, слушал «Голос Свободы», страдая вялотекущим антисоветизмом. Однако съезд еще не закрылся, когда позвонила испуганная бабушка Аня: от них только что ушла врачиха Хавкина, которая плакала, умоляя никуда больше не писать и не жаловаться. Через неделю к ним явилась комиссия, осмотрела коммуналку и сказала: «Ага!» Через месяц им выдали ордер, и мы с отцом перевезли их в отдельную квартиру на улице Пестеля в Отрадном, где они и жили до самой смерти. Бабушка скончалась в 1977-м, когда я служил в ГСВГ, и на похороны меня не отпустили, так как покойница в понимании военкомата моим близким родственником не считалась. А тетя Клава… Нет, это жуткая история. В другой раз… Отец же, осознав, что прописан теперь в трехкомнатной квартире, во время семейных ссор к обычным словам «А ну вас всех к лешему!» стал добавлять: «Уеду от вас к Пестелю!» «Езжай хоть сейчас!» – отвечала мать. Тем все и заканчивалось.

…Первым вышел из такси приезжий с двумя чемоданами и протянул водителю монетку.

– Рубль! – замотал головой «шеф».

– В позапрошлом году было пятьдесят копеек.

– А где ж ты был целых два года?

– Дома. Я живу в Хабаровске.

– Теперь рубль.

– Вы не предупредили… Я бы автобусом поехал.

– Вот и ехал бы. Рубль!

– Быстрей, опаздываю! – взмолился я.

– Товарищ, в самом деле, время – деньги! – поддержал меня пассажир в шляпе и тонких очках.

– Ладно, уговорил, но больше так не делай! – согласился водитель, играя желваками.

Хабаровчанин отдал полтинник, схватил чемоданы и поспешил к подъезду. Таксист несколько мгновений рассматривал на ладони монету, потом, выругавшись, швырнул ее в газонные кусты, сел за руль – и машина, злобно взревев, сорвалась с места.

– Вы все поняли? – тихо спросил меня очкарик.

– Что именно?

– Это же чистой воды инфляция. – Он повторил выбрасывающий жест шофера.

– Вы уверены?

– Я экономист. Мы идем к катастрофе. Хлеб будет стоить десять рублей за батон.

– А водка? – осторожно спросил я, понимая, что сижу рядом с не очень здоровым человеком.

– Страшно сказать: двести!

– Что вы говорите! – Я покачал головой и отодвинулся.

…В детском саду, как и подсказывало предчувствие, моя Алена, одна-одинешенька, сидела посреди комнаты, обложившись игрушками, среди которых было несколько пластмассовых Крокодилов Ген и Чебурашек.

– Полуякова, за тобой пришли! – конвоирским голосом крикнула воспитательница и с ненавистью посмотрела на меня: если бы не мое опоздание, она давно бы уехала домой.

– Знаете, автобусы совсем не ходят, – начал я оправдываться. – Просто безобразие какое-то…

– Знаю. Мне самой до «Каховки» на перекладных добираться. Вы уж, папаша, лучше ребенка на пятидневку сдавайте, чтобы и вам жилы не рвать, и нам тут, сами понимаете… – ответила она, складывая в большую сумку продукты из холодильника.

Мы с Аленой вышли на улицу. Рыжее, как таракан, солнце забилось в щель между многоэтажками и шевелило лучами, точно усами. К вечеру похолодало. Веселые осенние листья померкли. Я поправил на дочери вязаный шарф:

– Вернули «Пуппу»-то?

– Вернули, – грустно ответил ребенок. – А ты чего так поздно? Мама сказала, меня рано заберут. Знаешь, как Тамара Ивановна ругалась?

– На работе задержали.

– Я так и подумала. А в такую погоду можно есть мороженое?

– Маленькими кусочками можно.

Пока мы покупали возле универсама мороженое, зажглись фонари. Из переполненных автобусов, грузно пристававших к тротуару, вываливались толпы орехово-борисовцев, зато в центр летели пустые окна с одинокими пассажирами.

– Алена, – сказал я, нежно наблюдая, как дочь ест пломбир за 19 копеек в вафельном стаканчике с кремовой розочкой, – ты уж маме не говори, что одна в группе осталась, ладно?

– Ладно. А когда ты был маленьким, «Лакомка» с орехами уже была?

– Нет, еще не было.

– Почему?

Пришлось купить и «Лакомку». Через полчаса мы сидели дома, она рисовала, а я смотрел в десятый раз «Семнадцать мгновений весны». Когда Штирлиц разбил о голову Айсмана бутылку, пришла с работы Нина.

– Давно дома?

– Давно.

– Надеюсь, мой ребенок был не последним в группе?

– Ну что ты, киса! Детей было еще полным-полно. Правда, Алена?

– Правда, – подтвердила подкупленная дочь.

– Скажи, зайчик, а с кем ты играла, пока ждала папу?

– С Крокодилом Геной, – ответил ребенок, жалобно оглянувшись на меня.

– А еще с кем?

– С Чебурашкой…

– Нет, скажи, с кем из детей ты играла?

– Сама с собой.

– Врун! – пригвоздила меня жена. – Даже не мечтай!

Ну, вот: супружеское счастье теперь откладывалось как минимум на неделю. Странные все-таки существа – женщины! Наказывать мужа воздержанием – это как волка карать вегетарианской диетой. Все равно нажрется мяса, но в неположенном месте. А потом бегут в партком: спасите семью!

– Да ну вас всех к лешему! – взорвался я. – На работе КГБ, дома тоже КГБ. Мне завтра Ковригина допрашивать, а вы мне тут чебурашками голову морочите!

– Ковригина? – изумилась Нина, обожавшая его книги. – Того самого? А что он натворил? И при чем тут ты? Тебя из-за него в горком вызывали?

– Не имею права разглашать! – скупо ответил я, давая понять, что мне есть чем ответить на постельный карантин.

– Мне-то можно сказать? – обиделась жена и глянула на меня с интересом.

– Никому! – Я покачал головой, понимая, что семейное счастье все-таки возможно, когда уснет дочь.

23. «Крамольные рассказы»

Сияют звезды над Кремлем, алея,
И месяц проплывает, как ладья.
Выходит ночью вождь из мавзолея
И плачет, коммунизма не найдя.

А.

Мы дружно поужинал пельменями. Нина занялась постирушками. Я мужественно перемыл всю посуду, а потом рассказал на ночь дочери воспитательную сказку про белочку, которая дружила с медведем, и косолапый щедро угощал ее медом. Но как-то раз Топтыгин доверил подружке секрет, а та по дури разболтала всему лесу, включая сорок. В результате мед болтливой белке улыбнулся навсегда. Спокойной ночи!

– А разве мед может улыбаться? – спросила Алена.

– Это образное выражение. Мы же говорим: «пошел снег», а куда он пошел? В магазин, что ли?

– Снег в магазин не ходит. Завтра меня кто забирает?

– Мама.

– Значит, мороженое мне улыбнулось, – вздохнула она и повернулась к стене.

В спальне я упал на кровать, точнее, на разложенный диван, опасно скрипнувший подо мной. Он уже дважды ломался, его отвозили в ремонт мебели, и пожилой мастер, осматривая руину, ругался:

– Ну кто ж так клеит? Разве ж это брусок? Он и мышиной етьбы не сдюжит!

Положив повыше подушку и включив ночник, я продолжил чтение, начатое в метро. И снова разочарование: милые, точные, жанровые зарисовки, наподобие «Невыдуманных рассказов» Вересаева или похмельных заметок великого бездельника Юрия Олеши. Этюды, сценки, вроде бы со смыслом, но на полноценную новеллу никак не тянут. М-да, обмелел хваленый талант! Вот, например, рассказик о литфондовском похоронном агенте Арии Бакке, хорошо мне знакомом. В середине 1960-х у известного поэта умерла жена. Арий предложил могиломесто на новом Востряковском кладбище, у самой Окружной дороги. Вдовец возмутился: мол, нельзя ли поближе? Арий утешил: «Поверьте профессионалу, это очень перспективное кладбище!» И ведь правда! Когда я в 1974-м впервые приехал с Ниной на могилу ее отца, летчика-испытателя, там был уже целый город мертвых: лабиринт крашеных оград, бесчисленные кресты, стелы, скошенные гранитные плиты, даже надгробные скульптуры…

– Ах, простите, где тут могила Изольды Извицкой?

– Там, за Новаком…

Если помирал безродный писатель (не космополит, разумеется, а просто у покойного не оказывалось родни, чтобы нести гроб), Арий звонил мне:

– Жора, поднимай комсомол!

Особенно он беспокоился, чтобы усопший хорошо выглядел в гробу.

– Поймите, человек в последний раз на людях!

Ну и что в этом рассказике антисоветского? Ничего.

В другой миниатюре Ковригин, шикарно путешествуя по Грузии, дал водителю за подвоз рубль мелочью, а тот гневно отверг, мол, металлолом не собираю! Удивительно похоже на сегодняшний случай с таксистом, швырнувшим в кусты полтинник! Может, в самом деле инфляция? Просто в Грузии заметнее: там же советской власти почти нет, на каждом шагу подпольные цеха, в магазинах с рубля сдачи не дождешься, самая мелкая купюра у них – десятка.

Следом я прочел забавную историю про то, как автор гостил в Дюссельдорфе. Местный профессор-русист повел его и еще одного советского литературного функционера в баню, а она оказалась общей для мужчин и женщин, что у немцев – обычное дело. Увидев массу обнаженных дам, функционер побледнел, попятился и крикнул: «Это провокация! Бежим!» Ну какая тут, к черту, антисоветчина? Так, легкое зубоскальство…

Я закрыл глаза, вспоминая другой случай. Прошлой зимой аппарат и актив райкома комсомола перед отчетно-выборной конференцией выезжали на двухдневную учебу в профсоюзный профилакторий на Истре. Там была сауна с отдельными раздевалками, но с общими парной и бассейном. В отличие от поздних фантазий о комсомольской разнузданности все обстояло прилично: девушки и юноши были в простынках, купальниках или плавках. Никаких вольностей на людях себе не позволяли. Ну, а если потом у кого-то сладилось, так для того природа и разделила нас на мужчин и женщин. Но случился конфуз с Верой Денисовой – маленькой, неприметной, если не сказать – невзрачной девушкой из сектора учета. Она обычно ходила по райкому как-то бочком в одном и том же сером мешковатом платье, но чаще тихо, как мышь, сидела за шкафом, не отрываясь от карточек. Так вот, выйдя из парной, бедная Верочка поскользнулась на кафеле, вскинула для равновесия руки, и стянутая узлом простынка распалась, открыв миру совершенную женскую наготу: яблочные груди с вздернутыми сосками, узкую талию, крутые бедра, точеные ноги и русый мысок меж ними. Парни от неожиданности крякнули, а Денисова взвизгнула, покраснела, как свекла, схватила простынку и умчалась в раздевалку, трепеща идеальными ягодицами.

– М-да… – сказал, задумчиво глядя вслед, первый секретарь райкома Паша Уткин. – Кто бы мог подумать?

Его вскоре сняли с работы за скандальную внебрачную связь и шумный развод. На ужине Веры за столом не оказалось: от стыда она уехала домой рейсовым автобусом, а через полгода вышла замуж за Лешу Зотова, освобожденного комсорга спецавтохозяйства. Он тоже наблюдал это невольное разоблачение учетчицы и сделал правильные выводы.

– Ты скоро? – крикнул я жене.

– Скоро… – ответила она из кухни.

Дальше пошли восторженные заметки Ковригина о замечательных чешских пивных, по которым его водил пражский профессор-русист, угощая хмельными напитками всех цветов и консистенций, а попутно рассказывая об истории, обычаях и достоинствах каждого питейного заведения. Сравнение было явно не в пользу СССР, ведь у нас даже в Москве не всегда найдешь пиво в разлив, а если и добудешь, то кислое или водянистое, с пеной, похожей на мыльную. Не зря мы в «Радуге» чуть не набили морду халдею за неприлично разбавленное «Жигулевское». Зато на немецкую пену можно положить монетку, и она не утонет. Правда, мелочь там чеканят из облегченного алюминия, но все равно впечатляет. Конечно, наши бутылочные сорта «Останкинское», «Бархатное» или «Дипломат» почти не уступают импорту, но где ты их достанешь? Честно говоря, даже «Жигулевское», если свежее, вполне можно пить, но брать его следует только в темно-коричневых бутылках, в них оно почему-то крепче и хранится дольше. Загадка! Мой сосед и друг Жека Ипатов считает: все дело в каких-то лучах, которые не пропускает темное стекло. Почему же тогда все наше пиво не разливают в правильные бутылки? Темного стекла им не хватает? А чего у нас хватает при развитом социализме?

Прав Ковригин: неужели в стране, запустившей человека в космос, нельзя сделать так, чтобы на земле люди после работы или учебы могли спокойно посидеть за кружкой хорошего пива? В чем проблема? В социализме? Но в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии и ГДР тоже социализм, а с пивом и колбасой там все в порядке. Значит, в принципе возможно? Там. А у нас? Когда я в 1974 году впервые попал в Прагу по межвузовскому обмену, меня потрясло изобилие «пивечка». И никаких очередей. Зато в Москве у ларька, даже если висит дощечка «Пива нет», все равно народ кучкуется: вдруг подвезут?

Года два назад я летал по командировке Союза писателей в Абакан. Вышел из гостиницы, чтобы пообедать в столовой редакции местной газеты: в ресторане дорого, а в общепите котлеты из китового мяса. На тротуаре меня чуть не сшибли с ног. Люди целеустремленно бежали, прижимая к груди трехлитровые банки, гремя ведрами и канистрами…

– Что случилось?

– Пиво привезли!

Я поспешил за ними и посреди немощеной площади увидел желтую бочку (в Москве из таких продают квас), а вокруг, как удав, кольцами обвивалась бесконечная очередь. Я пристроился в хвост. Мужик, стоявший впереди, поднял булыжник, протолкался к цистерне и обстукал покатый железный бок. «Не хватит!» – хмуро сообщил он, вернувшись, но не ушел. Теперь это называется социальным оптимизмом. Вдруг я услышал:

– Жора, не стой, уже осадок сливают. Пошли, я на всех взял!

Это был заведующий отделом «Абаканского комсомольца» Вася Кильчугин, сгибавшийся под тяжестью огромной канистры. Я помог ему дотащить ценный груз до редакции, а по пути Вася рассказал, что на продовольственной базе у них есть рабкор, он-то и просигналил, едва бочка выехала за ворота, благодаря чему Кильчугин оказался в начале очереди, сразу за работниками прокуратуры, милиции и загса. Пиво на вкус напоминало перебродивший квас, но если добавить водки – пить можно.

24. Постель-читальня

Как я люблю твой ждущий взгляд,
Но зря сняла ты платье…
Мне дали на ночь «самиздат»,
И должен дочитать я!

А.

Я читал и ничего враждебного Советской власти в рассказах не находил: обычное интеллигентское брюзжание с русским уклоном. Дальше шла трогательная любовная новелла. Автор познакомился на научной конференции с молодой филологиней и после нудного семинара пригласил ее в ресторан. Она пришла в эффектном черном платье и была настолько хороша, что он не решился так вот сразу затащить ее в свой номер, боясь отказа. Решился Ковригин на это через двадцать лет, снова встретив ту же даму на каком-то филологическом толковище. Она явилась на званый ужин в том же самом черном платье, которое без колебаний сняла чуть позже в номере, словно упрекая робкого ухажера: «А счастье было возможно еще тогда, в первую встречу!»

Однажды, обидевшись на Нину из-за бытового тиранства, я решил отомстить ей с подружкой моей юности Леной Зарайской. В студенчестве мы с ней жутко целовались, но до постельной фазы не дошли по глупому недоразумению: она повредила ногу на катке и влюбилась во врача-ортопеда. Память сохранила лакомый образ высшей свежести. Я порылся в старой записной книжке, позвонил. Удивленный, но ничуть не изменившийся голос охотно согласился на свидание. Боже, что я увидел, встретившись с ней на Тверском бульваре! За годы разлуки у Зарайской выросли усы, нос стал похож на баклажан, бедра оплыли и смахивали теперь на фонарные тумбы. А какая прежде была французистая брюнеточка с зовущим станом! Мы поели мороженого, запив рислингом, повспоминали молодость и наши поцелуи в гулких подъездах. Лена сказала, что давно разошлась с мужем, оказавшимся бабником, живет одиноко, часто вспоминает меня и хочет вернуться в прошлое. Однако я наотрез отказался посмотреть ее однокомнатную квартиру в Беляево. Пусть уж лучше домашнее тиранство…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.